

ивановъ-разумникъ

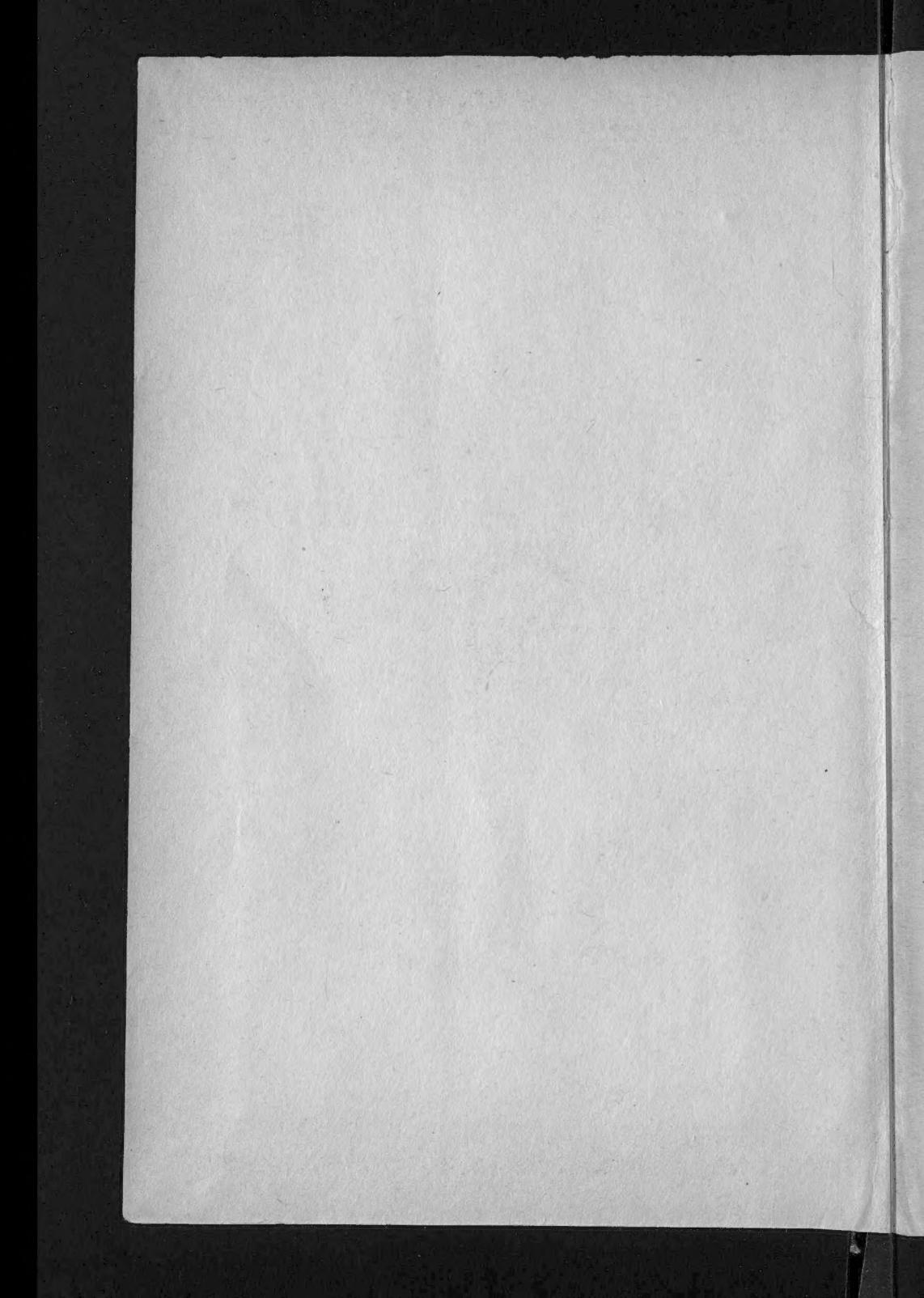
ANTENION DESCRIPTION DESCRIPTI

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

VI

оть СЕМИДЕСЯТЫХЬ ГОДОВЪ КЪ ДЕВЯНОСТЫМЪ

> П.Т.Г. 1913.





ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

YACTS VI

8 415

MIA 5-02 MEPEPABOTAHHOL

изд. Т-во РЕВОЛЮЦІОННАЯ Мысль 5 Qi 2916

ивановъ разумникъ

ОТЪ СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ КЪ ДЕВЯНОСТЫМЪ

исторія русской общественной мысли



935 769 N.T. F 1 9 1 8

128321 (8)

Типографія Ю. Я. Римана, 4-я Рождественская, д. 33, тел. 6-31.

Толстой и Достоевскій.

I.

«Великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растутъ къ небесамъ». Толстой и Достоевскій оба были «семидесятники», хотя творчество такихъ людей разбиваеть не только рамки десятилътій, но и границы стольтій. Однако, не надо забывать и того, что есть Гететворецъ въчно-юнаго «Фауста», и есть Гете-авторъ слащавой поэмы «Германъ и Доротея», есть Шекспиръ-создатель въчныхъ типовъ Лира, Гамлета, Отелло, и есть Шекспиръ-авторъ посредственныхъ сонетовъ: первые стоять выше пространства и времени, вторые принадлежать опредъленному мъсту и узко ограниченной зпохъ. Такъ и въ нашемъ случат: есть міровые геніи Достоевскій и Толстой, творцы и создатели безсмертных художественныхъ образовъ и этическихъ системъ, и есть, кром'в того, Достоевскій и Толстой-россійскіе семидесятники, эпигоны народничества, тъсно связанные съ запросами своей эпохи, своего общества. Остановимся сначала на этихъ простыхъ смертныхъ, чтобы потомъ перейти къ безсмертнымъ сторонамъ ихъ дъятельности.

Толстой — кающійся дворянинь, Достоевскій — разночинець: воть краткая формула, предложенная еще Михайловскимь для объясненія нікоторыхь основныхь черть разбираемыхь писателей, — формула, съ восторгомь принятая впослівдствій, вы девяностыхь годахь, критиками изь лагеря ортодоксальныхь марксистовь (см. Михайловскій, III, 496—509 и др.). Въ этой формуль, какъ схемів,

лежить большая доля относительной истины; руководствуясь ею, уже а priori можно оттёнить двё-три интересныя для насъ черты міровоззрёнія Достоевскаго и Толстого. Мы помнимъ, что кающіеся дворяне были представителями анти-идивидуалистической идеологіи уязвленной совёсти, примата соціальнаго надъ политическимъ и индивидуальнымъ,—и мы увидимъ у Толстого семидесятыхъ годовъ крайній соціологическій анти-индивидуализмъ; мы знаемъ, что разночинцы исповёдывали ультранидивидуалистическую идеологію возмущенной чести, примать индивидуальнаго и политическаго надъ соціальнымъ,—и мы найдемъ у Достоевскаго яркій индивидуализмъ.

Поскольку это върно, - върна и вышеприведенная формула, какъ схема; однако, никакая формула не можетъ покрыть собою живого человѣка — это надо постоянно имъть въ виду; исключительно слепой върой въ этикетки можно объяснить себъ то противоръчіе, въ которое впадають критики, пытающіеся разобраться въ постановкъ и рѣшеніи проблемы индивидуализма у Достоевскаго и Толстого. Такъ, напримъръ, одни утверждаютъ, что Толстой — «истый индивидуалисть до мозга костей», въ то время какъ Достоевскій является типичнымъ антииндивидуалистомъ, котораго «свобода и самосовершенствованіе личности мало заботять (!!). Личность, по его ученію, должна лишь смириться и принести себя въ жертву отечеству» (см. «Исторію новъйшей русской литературы» Скабичевскаго, стр. 165-166); другіе въ то же самое время находять у Достоевскаго сръшительный индивидуализмъ», а у Толстого-отрицаніе личной воли и самоподчинение личности обществу.

Не придавая особаго значенія какимъ бы то ни было формуламъ, попробуемъ непосредственно разобраться въ основныхъ чертахъ, связующихъ Достоевскаго и Толстого съ теченіями семидесятыхъ годовъ: познакомимся съ почвенной теоріей Достоевскаго и съ народничествомъ Толстого въ семидесятыхъ и второй половинъ шестидесятыхъ годовъ. Оба они были народниками того или иного оттънка и оба были далеки отъ народничества критическаго.

Достоевскій въ началѣ шестидесятыхъ годовъ пришелъ къ убѣжденію, что и западничество, и славянофильство уже не могутъ удовлетворять постоянно растущимъ запросамъ развивающейся мысли; онъ желалъ синтезировать оба эти направленія и пытался сдѣлать это въ своемъ журналѣ «Время» (1861—1864). Сразу приходится скавать, что понытка эта была крайне неудачной: чтобы синтезировать враждебныя теченія сороковыхъ годовъ, нужна была критическая проницательность Герцена, твердая научная основа Чернышевскаго, выдающаяся синтетическая способность Михайловскаго; ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ Достоевскій не обладалъ.

О чемъ изо дня въ день твердили «почвенники» --Достоевскій, Григорьевъ, Страховъ и др.? Въ чемъ заключалась ихъ проповъдь? Это было смутное, тягучее, неопредъленное воззръніе, те выдерживающее критики, какъ общественная программа, а, между тъмъ, Достоевскій упорно держался за него до послѣднихъ дней своей жизин. Когда Михайловскій однажды наголову разбилъ это возэртніе (въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1873 г.), то Достоевскій признался, что статья Михайловскаго была для него въ некоторомъ смысле «какъ бы новымъ откровеніемъ», и что сбъ этой стать в «когда-нибудь непремънно надо поговорить» («Гражданинъ» 1873 г., № 8; Собр. сочин., ІХ, 233) 1), но больше шикогда не вспоминалъ онъ объ этой статьт, молчаливо признавая безсиліе своей позиціи и слабость своей общественной программы. Однако, примкнуть къ критическому народничеству онъ не могъ, расходясь съ немъ въ коренномъ вопросъ-чего надо держаться, мниній или интересовг народа?

Такъ онъ и остался при своей крайне безсвязной и догматической «почвенной» точкъ зрънія, утверждая, что всъ наши бъды коренятся въ нашей оторванности отъ почвы, отъ народа, что пменно народу (подъ которымъ онъ понимаетъ не всъ трудящіеся классы общества, а только мужика), народу, а не интеллигенціи, предстоитъ

¹⁾ Цитаты по изданію Маркса 1894—1895 гг.

сказать «новое слово», которое потрясеть не только Россію, но и Европу: пусть мужички свое слово скажутъ, а мы, «интеллигенція народная», пусть пока «постоимъ въ сторонкъ, единственно, чтобы уму-разуму поучиться» (IX, 524). Подобно всёмъ народникамъ, Достоевскій быль убъжденъ въ возможности особаго пути развитія Россіп; но и здъсь его аргументація слаба и наивна: у насъ есть замъчательныя литературныя произведенія удивительной силы мысли и исполненія, заявляеть онъ: напримъръ, --«Анна Каренина»; такъ почему же у насъ не можетъ быть впоследствін и своей науки, своихъ решеній экономическихъ и соціальныхъ? (ХІ, 249-250). Впрочемъ, самъ Достоевскій указываеть, что это-не научное предвидъніе, а пророчество: «мы, върующіе, пророчествуемъ»... (XI, 243; см. еще пророчества Достоевского — увы! все неудачныя—XI, 301—304). Россія непабъжно скажеть свое «новое слово», ибо Европа находится «паканунть паденія, повсемъстнаго, общаго и ужаснаго»... «Грядеть четвертое сословіе» — и поб'єдить встхъ и вся: и это не въ отдаленномъ будущемъ, а чуть ли не на дняхъ: это все «близко, при дверяхъ»... «...Уплата по итогу можетъ произойти даже гораздо скорве, чвив самая сильная фантазія могла бы предположить» (XI, 495; всѣ эти цитаты изъ «Дневника Писателя» за 1877 и 1880 гг.). Европу спасеть только Россія своимъ «новымъ словомъ», и тогда на землъ наступитъ миръ и въ человъцъхъ благоволеніе. Что это за новое слово, -- Достоевскій, конечно, не знаеть; однако, мы увидимъ, что въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» онъ намекнулъ на содержание этого «новаго слова»; въ «Дневникъ Писателя» онъ только старался выяснить, почему именно русскій челов'єкъ способенъ сказать всепримиряющее новое слово, - нотому что «всечеловъчность есть главнъйшая личная черта и назначение русскаго» (1876 г., Х, 204). Какъ пзвъстно, эта старая чаадаевская мысль легла въ основание знаменитой «Пушкинской рѣчи» (1880 года).

Какая удивительная путаница вёрныхъ мыслей съ предвзятыми положеніями и напвными «пророчествами»! Какіе убогіе перепёвы на темы изъ гоголевской «Переписки»! Помните, какъ то же «пророчествоваль» вёрую-

щій въ провиденціальное назначеніе Россіи Гоголь: «еще пройдеть десятокъ лѣтъ — и вы увидите, что Европа прівдеть къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продають больше на европейскихъ рынкахъ»... Прошло десять, двадцать, тридцать лѣтъ; за такія же дѣтскія пророчества и прорицанія принимается такой колоссъ художественной мысли, какъ Достоевскій. Конечно, не такими пророчествами можно синтезпровать воззрѣнія западничества и славянофильства; Достоевскій не хотѣлъ видѣть, что единственно возможный синтезъ ихъ задолго до него сдѣланъ Герценомъ, а впослѣдствій Михайловскимъ.

Кое-что Достоевскій понималь втрно, кое въ чемъ онъ раздёляль предразсудки крайняго славянофильства; въ общемъ же его «почвенничество» представляло неопредъленный конгломерать истерическихъ всхлинываній на-ряду съ глубокими и върными мыслями: отчасти мы это виділи и выше. Достоевскій прекрасно понималь всю буржуазность эпигоновъ западничества, доктринеровъ либерализма; онъ вдко высмъпвалъ пресловутую свободу, воспъваемую сытыми буржуа и остающуюся нереализованной по отношению къ массъ народа. Одинаковая свобода всъмъ дёлать все, что угодно въ предёлахъ закона, является осязаемой величиной только для владельца милліона, - пронизируеть Достоевскій въ своихъ «Зимнихъ зам'єткахъ о лътнихъ впечатлъніяхъ» (1863 г.): «человъкъ безъ милліона есть не тоть, который деласть все, что угодно, а тотъ, съ которымъ д'влаютъ все, что угодно» (т. III, ч. II, 45). Но туть же онъ повторяеть старый гръхь славянофильства, указывая, будто бы на Западъ чрезмърно развито начало личности: оказывается, что въ Европъ царитъ «начало личное, начало особняка, усиленнаго самосохраненія, самопромышленія, самоопредъленія въ своемъ собственномъ Я, сопоставленія этого Я всей природѣ и всѣмъ остальнымъ людямъ, какъ самоправнаго отдъльнаго начала, совершенно равнаго и равноценнаго всему тому, что есть кром'в него». А, между тъмъ, заявляетъ Достоевскій, «личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать своего права, но, напротивъ, отдать его обществу безъ

всякихъ условій». Отъ имени личности Достоевскій обращается къ обществу со слідующими характерными словами: мы крібки только всі вмісті; возьмите же меня всего, если вамъ во мні надобность, не думайте обо мні, издавая свои законы, не заботьтесь нисколько, я всі свои права вамъ отдаю и пожалуйста располагайте мною... Уничтожусь, сольюсь съ полнымъ безразличіемъ, только бы ваше-то братство процвітало и осталось». Братство, съ своей стороны, тоже великодушно отдаетъ себя всеціло въ распоряженіе личности, послі чего настаеть миръ всего міра и благораствореніе воздуховъ...

Нетрудно узнать во всемъ этомъ стараго знакомагополитическій романтизмъ славянофильства, но ошибочно было бы видёть въ этомъ анти-индивидуализмъ Достоевскаго; напротивъ, подобно славянофиламъ, онъ стоптъ вдъсь на почвъ этическаго индивидуализма, ставитъ личность высоко. «Что-жъ, -- спрашиваетъ онъ, -- надо быть безличностью, чтобъ быть счастливымъ? Развъ въ безличности спасеніе? Напротивъ, напротивъ, говорю я, не только не надо быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже гораздо въ высочайшей степени, чёмъ та, которая теперь определилась на Западе». Дело въ томъ, что самовольное, сознательное самопожертвованіе есть признакъ высочайщаго развитія личности: добровольно положить свей животь за всёхъ, нейти за всёхъ на кресть, на костеръ, можно только сдёлать при самомъ сильномъ развитіи личности (т. III, ч. II, 45 -47).

Конечно, съ послъднимъ утвержденіемъ спорить не приходится, такъ какъ безспорно, что сознательное само-пожертвованіе во многихъ случаяхъ именно проявляеть личность во всей ся полнотъ и сплъ; говоря о славнно филахъ, мы уже указывали, что ихъ требованіе подчиненія личности не противорьчить ихъ этическому пидивидуализму. Но уже Герценъ вскрылъ главнъйшую ошибку этой теоріи самопожертвованія. «...Позвольте спросить, — пронизировалъ онъ, — возможно ли хроническое самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой — не важность: Курцій бросился въ пропасть, да и поминай какъ звали, — это понятно; а безпрестанно, цълые годы, каждый день приносить себя на жертву, — да гдъ же взять столько герой-

ства или столько ослинаго теривнія?»... Здёсь вопросъ поставлень ребромъ, ярко и выпукло, по-герценовски. Бывають случан, когда и можно и должно жертвовать своей личностью, и жертва эта будеть яркимъ проявленіемъ индивидуализма; но въ возведеніи этого возможнаго частнаго случая въ необходимый общій принципъ заключается вся ощибка и славянофиловъ, и Достоевскаго, въ этомъ возведеніи лежить причина того политическаго романтизма, въ которомъ повинны и тѣ, и другой.

Очевидно, поэтому, что, какъ политическая платформа, какъ общественная программа, теорія Достоевскаго не удовлетворяла практическимъ запросамъ жизни, -- она была утопична во сто кратъ болъе, чъмъ критическое народничество со своей экономической утопіей соединенія въ единомъ лицъ двухъ ппостасей — производителя и потребителя. Исповъдуя свой общественный романтизмъ, Достоевскій въ то же самое время слегка пронизпроваль надъ «мечтательнымъ элементомъ славянофильства» и выражалъ свои симпатіи общественному реализму западничества (см. его статьи во «Времени» 1861 г.; ср. IX, 154, 156 и др.); онъ не видълъ, что самъ онъ въ этомъ отношении является върнымъ последователемъ славянофильства, что именно у него вполнъ отсутствуетъ общественный реализмъ. Въ общемъ, приходится прійти къ тому выводу, что попытка спитеза славянофильства и западничества не могла быть реализована Достоевскимъ и осталась въ разрядѣ «добрыхъ намъреній»; почвенничество же его было только догматическимъ народничествомъ второстепеннаго значенія: своего слова въ этой области ему сказать не пришлось.

III.

Если мы обратимся теперь къ народническимъ воззрѣніямъ Толстого, то намъ придется повторить многое изъ сказаннаго выше. (Мы пока будемъ говорить исключительно о соціологической сторонъ воззрѣній Толстого, откладывая на время ихъ этическую подоплеку; особенно это касается его ученій восьмидесятыхъ годовъ). По своей окраскѣ народничество Толстого стоитъ посрединѣ почвенничества Достоевскаго и критическаго народничества семидесятыхъ годовъ: подобно первому, Толстой склоняется къ мнюніямъ, а не интересамъ народа, подобно второму, онъ обращаетъ свое главное вниманіе на раздѣленіе блага реальной личности и абстрактнаго человѣка. Познакомимся немного подробнѣе съ главными положеніями его народничества.

Еще въ началъ шестидесятыхъ годовъ Толстой вполнъ ясно высказалъ свои взгляды въ рядъ глубоко интересныхъ статей, а особенно въ стать в Прогрессъ и опредъленіе образованія» (1862 г.); въ ней онъ съ замъчательной силой мысли предвосхитилъ многія основныя положенія критическаго народничества, подробно развитыя въ следующемъ десятилети Михайловскимъ. Онъ первый въ русской литературъ послъ Герцена и Чернышевскаго указалъ на противоположность интересовъ народа и націи; очевидно по всему, что это было сдёлано внё всякаго вліянія антибуржуазных німецких экономистовь, съ которыми Толстой въ то время вовсе не былъ знакомъ. «Интересы общества и народа — заявляеть Толстой всегда бывають противоположны. Чёмь выгоднёе одному, тъмъ невыгоднъе другому»; это положение онъ подтверждаеть далье, прилагая его къ понятію прогресса: «прогрессъ тъмъ выгоднъе для общества, чъмъ невыгоднъе для народа» (IV, 141) 1). Нетрудно видъть, что Толстой говорить здёсь объ эволюціи и намічаеть ту самую мысль, которую десятью годами нозже подробно развиль Михайловскій, отрицательно относясь къ развитію общества по органическому типу. Народъ, т. е., по опредъленію Толстого, «занятые классы» (и здъсь предвосхищение Михайловскаго, признававшаго народомъ всѣ «трудящіеся классы общества»), заинтересованъ ростомъ своего благосостоянія, а отнюдь не ростомъ апокрифической «цивилизаціи», между тъмъ какъ «прогрессъ благосостоянія... не только не вытекаетъ изъ прогресса цивилизаціи, но, большею частью, противоположенъ ей» (IV, 141, 151; ср. XII, 333 п др.); другими словами, Толстой выставляеть впередъ благо реальной личности и относится вполнъ отрицательно къ

¹⁾ Цитаты по 9-му изданію собранія сочиненій Л. Толстого.

благу абстрактнаго человъка. (Эту мысль Толстой впослъдствіи художественно развиль въ началъ VI-й главы «Смерти Ивана Ильича», а отчасти и въ ХХХVIII-й главъ II-й части «Воскресенья»; ту же самую мысль выразилъ и Достоевскій извъстными словами: «...любить общечеловъка, значить навърно ужъ презирать, а подчасъ и ненавидъть стоящаго подлъ себя настоящаго человъка», т. IX, 203).

Вполнъ понятно, что, придя къ такой точкъ зрънія, Толстой поставиль во главу угла своихъ возэрьній вопросъ о раздъленін труда; впрочемъ, вполнѣ ясно онъ выразилъ свои мысли по этому вопросу только къ восьмидесятымъ годамъ, и мысли эти были весьма близки къ критическому народинчеству. Особенно полно онъ изложилъ свои взгляды на это въ замъчательной статьъ «Такъ что же намъ дълать?» (1884--1885 гг.). Наука доказываеть неизбъжность раздъленія труда, но туть-то и возникаеть неустранимый вопросъ-да правильно ли этотъ трудъ раздѣленъ? «И если люди считають извёстное раздёленіе труда неразумнымъ и несправедливымъ, то никакая наука не можетъ доказать людямъ, что должно быть то, что они считаютъ неразумнымъ и несправедливымъ» (XII, 324). Въ этихъ словахъ у Толстого бевсовнательно сказалось признаніе дуализма сущаго и должнаго и этическаго первенства второго надъ первымъ; но, устраняя пока этическую точку зрвнія, мы скажемъ только, что взгляды Толстого здёсь и въ дальнёйшемъ внолнъ совпадають съ основоположеніями критическаго народничества и субъективизма Михайловскаго. Толстой ртзко нападаетъ на спеціалистовъ, этихъ «скопцовъ мысли» съ вывихнутыми мозгами; онъ горячо проповъдуетъ, что человѣкъ выше науки, выше всего на свѣтѣ; онъ удачно опровергаетъ ограническую теорію общества и т. п. (XII, 329, 317 — 324 и др.), — но во всемъ этомъ мало новаго по сравненію съ основными положеніями критическихъ народниковъ семидесятыхъ годовъ. Поскольку Толстой приближается здёсь къ критическому народничеству, постольку несомнъненъ его соціологическій индивидуализмъ; въ восьмидесятыхъ годахъ этотъ индивидуализмъ сказался еще ярче, когда Толстой пришелъ къ теоретическому анархизму.

Однако, взгляды Толстого таили въ себъ и явные признаки анти-индивидуализма. Признавая, подобно всемъ народникамъ особый путь развитія Россіи (о чемъ см., напр., IV, 118—119, 151 и др.), Толстой, подобно Достоевскому, находиль нужнымъ для этого держаться мнюній народа, а не только бороться за его интересы. Въ этомъ сквозила крайняя субъективистическая точка зрёнія, не признававшая объективнаго блага и утверждавшая, что сколько головъ, столько и умовъ, сколько умовъ, столько и интересовъ; однако, въ то же время Толстой считалъ вполнъ допустимымъ подчинение всёхъ общимъ мненіямъ народа и самъ не видълъ противоръчія, въ которое впадалъ; подавление личности при этомъ подчинении оставлялось имъ безъ вниманія. Цёлая сторона челов'єческаго духа - разумъ - безпощадно зачеркивалась Толстымъ, на томъ основаніи, что наука не можеть отвѣтить на вопросъ: «какъ мнъ жить свято?» (вспомнимъ исканія кающихся дворянъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ); толстовство въ этомъ отношении пошло еще дальше Толстого и впало не только въ анти-индивидуализмъ, но и въ явное мъщанство, какъ мы это увидимъ въ слъдуюшей главъ.

Итакъ, въ своей общественной программъ Толстой стоялъ посрединъ между почвенниками и критическими народниками; тщетны были поэтому попытки различныхъ критиковъ причислить его къ западникамъ или пріобщить къ лику славянофиловъ. Онъ никогда не пытался синтевировать эти два направленія, какъ это хотёлъ сдёлать Достоевскій, а шелъ своей тропой, одинаково далекій отъ всъхъ группъ нашей интеллигенціи. И, несмотря на это, связь его съ идеями семидесятыхъ годовъ несомнънна, также какъ и связь съ ними Достоевскаго. Достоевскій отчасти, а Толстой, въ особенности, были предшественниками критическаго народничества въ шестидесятыхъ годахъ; въ семидесятыхъ они сделались эпигонами его, и ученія ихъ стали вырожденіемъ критическаго народничества. Мы можемъ смёло высказать эту непочтительную мысль, такъ какъ не смъщиваемъ истинно великихъ сторонъ дълтельности Толстого и Достоевскаго со сторонами слабыми и даже мало достойными величайшихъ представителей русской интеллигенціи. Сравнивать an und für sich соціологическія воззрѣнія и общественныя программы Толстого и Достоевскаго, съ одной стороны, и Михайловскаго, съ другой, — настолько же наивно, какъ ставить рядомъ «Анну Каренину» или «Братьевъ Карамазовыхъ» съ беллетристическими произведеніями Михайловскаго

(«Карьера Оладушкина» и т. п.).

Конечно, сами по себъ Толстой и Достоевскій — такія громадныя величины, что самая наивная и слабая теорія пріобрътаеть въ ихъ устахъ величайшій интересъ для общей характеристики ихъ воззрѣній, - что, однако, нисколько не мъщаетъ этимъ теоріямъ быть ничтожной цънностью безотносительно. Почвенничество Достоевскаго прошло совершенно безследно въ исторіи русской жизни шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ, имъло нъсколько большій усп'єхъ въ начал'є восьмидесятыхъ годовъ (его апогей-пушкинская рѣчь 1880 г.); толстовство достигло значительной силы въ печальной памяти «эпоху общественнаго мъщанства, но это былъ успъхъ этическихъ и религіозныхъ основаній, а не общественныхъ программъ Достоевскаго и Толстого: мы знаемъ, что программы эти были неясны, спутанны, противоръчивы; въ нихъ, по мъткому и извъстному выраженію Михайловскаго, десница постоянно боролась съ шуйдей, и зачастую побъждала послъдняя. Не такимъ общественнымъ программамъ можно было пдти противъ гармоничнаго и стройнаго міровоззрѣнія критическаго народничества въ томъ видъ, въ какомъ оно было разработано Герценомъ, Чернышевскимъ, Лавровымъ и Михайловскимъ. Достоевскій и Толстой велики, какъ геніальные художники, какъ проповъдники этико-религіозныхъ системъ, и именно на этомъ надо сосредоточить главное вниманіе, оставивъ въ сторонъ тъ стороны дъятельности этихъ великихъ людей, которыя не могуть прибавить имъ славы съ какой бы то ни было точки зрвнія.

IV.

СОтношение Толстого и Достоевскаго къ проблемъ индивидуализма — вотъ вопросъ, который намъ предстоить разо-

брать на последующихъ страницахъ. Приступая къ этому вопросу, мы сперва, въ виде предисловія, познакомимся съ отношеніемъ Достоевскаго и Толстого къ мещанству; это отношеніе, конечно, можно предугадать заранее въ общихъ его чертахъ; обратимся, однако, къ

подробностямъ.

Въ «Дѣтствъ, отрочествъ и юности» (1852—1857 гг.) Толстой посвящаетъ особую главу разбору понятія «сотте il faut» и подчеркиваетъ, что самъ онъ «имѣлъ положительную неспособность къ сотте il faut», что пріобръсти это сотте il faut ему стоило огромнаго труда, что пріобръсти это сотте il faut ему стоило огромнаго труда, что пріобръсти пагубныхъ вліяній воспитанія и общества на человъка (I, 305—308). Такъ началась у Толстого борьба съ мъщанствомъ; въ дальнъйшей борьбъ онъ только расширялъ кругъ своего отрицанія и отъ отрицанія формъ культуры высшаго класса общества, людей сотте il faut, перешель къ отрицанію формы и содержанія культуры вообще; какъ извъстно, въ восьмидесятыхъ годахъ такіе взгляды достигли въ Толстомъ своего апогея, развиваясь постепенно

еще съ пятидесятыхъ годовъ.

Еще въ «Казакахъ» (1852 г.) мы встръчаемся съ alter едо Толстого, юнкеромъ Оленинымъ, въ которомъ впервые происходить ломка старыхъ, обыденныхъ формъ жизни и выработка формъ новыхъ, своеобразныхъ. «Оленинъ жилъ всегда своеобразно, - замъчаетъ Толстой, - п имълъ безсознательное отвращение къ битымъ дорожкамъ». Попавъ на Кавказъ, Оленинъ-Толстой издали яснъе увидълъ всю скуку и пошлость мъщанской жизни comme il faut: «какъ вы мнъ всъ гадки и жалки, - восклицаеть онъ, —вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотъ... Коли бы вы знали, какъ мнъ мерзки и жалки вы въ вашемъ обольщеніи!...» Онъ невольно сравниваеть въчные снъга горъ, лъсъ, красивую и спльную казачку съ мертвящей суетой гостиныхъ, съ жеманными, хилыми, напомаженными женщинами, съ въчной скукой въ крови, съ въчными сплетнями, пересудами, притворствомъ, жизнью по ранжиру... «Поймите одно, или повъръте одному, - заканчиваетъ онъ, - надо видъть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всъ ваши желанья счастья и за меня, и за себя. Счастье—это быть съ природой, видъть ее, говорить съ ней» (II, 194, 231—2).

Здесь идеть борьба съ мещанскими формами современной культуры; отрицаніе культуры по содержанію явится у Толстого позднёе, въ восьмидесятыхъ годахъ. Наиболье рызкими штрихами обрисовано у Толстого общественное мъщанство въ его двухъ большихъ романахъ; достаточно указать на типы супруговъ Бергъ, Каренина, а отчасти и Вронскаго. Съ ръдкой силой ядовитаго сарказма, но съ вполнъ простодушнымъ и невиннымъ впдомъ карактеризуеть онъ Берга, считавшаго жизнь не годами, а высочайшими наградами, обнимающаго жену съ осторожнестью, чтобы не измять дорогую кружевную пелеринку, твердо помиящаго основную заповъдь мъщанства: «надо быть добродътельнымъ и аккуратнымъ». И онъ и его достойная супруга болће всего гордятся тъмъ, что ихъ званый вечеръ «какъ двъ канли воды похожъ на велкій другой вечаръ съ разговорами, чаемъ и зажженными свъчами... Все было похоже. II дамскіе тонкіе разговоры, и карты, и за картами генералъ, возвышающій голосъ, и самоваръ, и печенье»... Быть «какъ всъ»главная задача мѣщанина; понятно поэтому, что улыбка радости и счастья не сходила въ этотъ вечеръ съ лица достойныхъ супруговъ Бергъ (VI, 250-257).

Не менте претить Толстому и аристократическое мъщанство выешаго круга, напримъръ, котя бы Вронскаго, къ которому, вообще говоря, Толстой относится довольно списходительно. Однако, онъ рисуетъ Вронскаго точнымъ портретомъ какого-то иностраниаго принца, человъка безусловно соште il faut, джентльмена, что выражалось въ его глупости, чистоплотности, здоровья и самоувъренности. «Глупая говядина!» — отзывается о немъ Вронскій и въ то же самое время видить себя въ этомъ человъкъ, какъ въ зеркалъ. Во Вронскомъ и людяхъ его круга Толстой показываетъ намъ въ художественныхъ образахъ то самое, о чемъ онъ раньше говорияъ, разбирая понятіе «сотте il faut» въ «Юности»; Вронскій охарактеризо-

ванъ имъ почти тъми же самыми словами (ср. I, 305—308 и IX, 142—143, X, 84; см. также X, 144).

Впрочемъ, аристократическое мъщанство Вронскаго менте ненавистно Толстому, чтмъ бюрократическое мтщанство Каренина, этого Молчалина, достигшаго до степеней извёстныхъ, утратившаго свою былую угодливость, а взамънъ получившаго всю сухость чувства и мысли канцелярской души. Теперь передъ нами видный государственный діятель, бюрократь, подготовляющій въ тиши своихъ канцелярій благод тельные для Россін планы, не имфющій буквально ни минуты свободной. «Каждая минута жизни Алексъя Александровича была занята и распредълена. И для того, чтобы успъвать сдълать то, что ему предстояло каждый день, онъ держался строжайшей аккуратности. «Безъ поспъшности и безъ отдыха» было его девизомъ»... Вообще же, передъ нами добродътельный и узкій чинуша, совершенно не понимающій того, что выходить изъ круга его спеціальности; это не мъщаетъ ему имъть «самыя опредъленныя, твердыя мнънія» именно въ областяхъ тёхъ вопросовъ, пониманія которыхъ онъ напболѣе лишенъ: новыя школы поэзіп п музыки, въ которой онъ ничего не понимаетъ, распредълены у него «съ очень ясною последовательностью». Накленвъ на явленія этикетки, бюрократическій мѣщанинъ удовлетворенъ внолнъ. Онъ пытается однажды разобраться въ мысляхъ и чувствахъ живого человъка своей жены, но сейчась же прячется отъ этой попытки за ту или иную этикетку: «Вопросы о ея чувствахъ, о томъ, что дёлалось и можеть дёлаться въ ея душе, это не мое дѣло, это дѣло ея совѣсти и подлежить религіи», сказалъ опъ себъ, чувствуя облегчение при сознании, что найдень тоть отдёль узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство». Психологія бюрократическаго мъщанина очерчена въ этихъ словахъ съ удивительной върностью, краткостью и силой. Какъ бъсъ ладана, такъ бюрократическій м'єщанинь бонтся жизни, бонтся живой человтческой индпендуальности; онъ чувствуеть себя въ безопасности только спрятавшись за какую-нибудь мертвую схему, безличную этикетку. Когда Каренинъ сталъ разбираться въ возможныхъ мысляхъ и чувствахъ своей

жены, то онъ «впервые живо представилъ себъ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія, и мысль, что у нея можеть и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему такъ страшна, что онъ поспѣшилъ отогнать ее. Это была та пучпна, куда ему страшно было загляпуть» (ІХ, 137, 140, 180, и др.). Нужно быть Толстымъ, чтобы съ такой безпощадной ясностью обнажить исихологію мѣщанина, не умѣющаго примириться съ мыслью, что, помимо его схемъ и подраздѣленій, есть жизнь, есть живые люди, есть живая человѣческая индивидуальность, совершенно единичная, бездонно глубокая, не подводимая ни подъ какія схемы и классификаціи.

V.

Отношеніе Достоевскаго къ м'єщанству не мен'є р'єзкоотрицательно, хотя типы мъщанъ у него, конечно, другіе. Вотъ, напримъръ, Акимъ Акимычъ -- товарищъ Достоевскаго по каторгъ, наводивній своимъ мъщанствомь на Достоевскаго тоску до такой степени, что онъ иногда «начиналъ почти ненавидъть Акима Акимыча неизвъстно за что» (III, 271—273). Впосл'єдствін Достоевскій вполн'є опредъленно выяснилъ, что именно ему ненавистно въ мъщанствъ, и, главнымъ образомъ, въ мъщанствъ буржуазномъ Въ своихъ «Зимнихъ замъткахъ о лътнихъ впечатленіяхъ» (1863 г.) онъ носвящаеть рядъ главъ характеристикъ французской буржуазін (гл. VI и VII--«Опытъ о буржуа»), обрушиваясь со всей силой своего сарказма именно на мъщанство этой буржуазіи. Мы уже останавливались выше на этомъ произведении Достоевского; не будемъ повторяться и обратимся лучше къ газвитію той же мысли въ «Игрокъ» (1866-67 гг.), гдъ Достоевскій характеризуетъ мимоходомъ нъмецкаго буржуа. Конечно, его характеристики разбивають рамки національностей и, въ концъ концовъ, получается характеристика буржуа вообще; по этому поводу можно еще разъ вспомнить замѣчаніе Гл. Успенскаго, что нашъ буржуа не можетъ выдумать ни новой формы жизни, ни вложить въ нее новое содержаніе, которыя не были бы свойственны вообще типу буржуа: «русскій заяцъ точно такой же

заяць, какъ и заяць-англичанинь, и вовсе цёть того, чтобы нашь заяць деталь, а англійскій пѣль — оба они зайцы и все у нихь заячье, какъ двѣ капли воды»... Посмотримъ же, какъ характеризуетъ зайца-мѣщанина Достоевскій устами Игрова.

Игрокъ возмущается немецкимъ филистерствомъ и добродътельностью; онъ ядовито описываеть, какъ мъщанинъ-буржуа жертвуетъ встмъ-любовью, семьей, жизнью ради пдеп наксиленія; какъ онъ откладываеть на двадцать льть свою свадьбу съ Амальхенъ, чтобы наконпть заранъе опредъленное число гульденовъ; какъ старый фатеръ его, наконецъ, благословляетъ своего сорокалътняго сына и тридцатипятильтнюю Амальхенъ съ изсохшей грудью и краснымъ носомъ, а самъ плачеть, читаетъ мораль и умираетъ... Далъе продолжается сказка про бълаго бычка-и, наконецъ, черезъ пять-шесть покольній получается богатый торговый домъ Гоппе и Ко. «Ну-съ, какъ же не величественное зрълище, - пронизируетъ Достоевскій, — стольтній или двухсотльтній преемственный трудъ, терпъніе, умъ, честность, характеръ, твердость, разсчеть». Этимъ величественнымъ буржуазно-міщанскимъ пдеаламъ онъ устами Игрока противопоставляеть даже дебошъ «широкой натуры» даже рулетку: «...не хочу я быть Гоппе и Ко черезъ пять покольній! Мив деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чтмъто необходимымъ и придаточнымъ къ капиталу» (III, ч. II, 237-239). Что человъческая личность важнъе всего, это Достоевскій впоследствін развиль съ громадной силой; эта же самая мысль является здёсь выраженіемъ его анти-мъщанства, такъ какъ именно мъщанству свойственно ставить реальную личность на второй планъ, выставляя на первый капиталь, мертвыя схемы и этикеты.

Буржуазное м'вщанство особенно интересовало Достоевскаго, но не менте отрицательно относился онъ и къ мъщанству вообще, а также и къ мъщанству формы, а не содержанія. Мъщанинъ Васинъ (въ «Подросткъ»; см., напр., VIII, 418—419) обрисованъ немногими штрихами, но достаточно опредъленно для того, чтобы стало ясно въ чемъ заключается это мъщанство формы; еще яснъе

это выражено въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «Идіота» (1868 г.): шаблонъ, общая схема -- воть признаки мъщанства по формъ, такъ дорого цънимые не только въ бюрократической или буржуазной средъ. «Недостатокъ оригинальности вездъ, во всемъ міръ, споконъ въка, тали всегда первымъ качествомъ и лучшею рекомендаціей человъка дъльнаго, дълового и практическаго, и, по крайней мъръ, девяносто девять сотыхъ людей (этото ужъ по крайней мъръ) всегда состояли въ этихъ мысляхъ, и только развѣ одна сотая людей постоянно смотрѣла и смотритъ иначе». Въ другомъ мѣстѣ Достоевскій подробнъе характеризуетъ это стремление «быть какъ и всь»; нъкоторые стремятся къ этому положенію, нъкоторые, наоборотъ, стремятся выйти изъ него (напр., въ «Пдіотѣ» — Гаврила Ардаліоновичъ Иволгинъ) и намъчають этимъ дифференціацію въ самыхъ слояхъ мѣщан-

ства (VI, 350, 497—501 и др.).

Однако, все это между прочимъ. Ни Достоевскій, ни Толстой никогда не обращали особеннаго вниманія на ползавшее вокругъ нихъ мѣщанство и только мимоходомъ наносили ему ошеломляющие удары. Все ихъ вниманіе было направлено въ противоположную сторону. Нетеривливо отстраняли они отъ себя всв разновидности мъщанства, заслоняющія живую человъческую личностьбуржуазность, бюрократизмъ и т. и., - ихъ имена суть многи... Эта реальная личность, человъческая личность составляетъ центръ тяжести интересовъ и Достоевскаго и Толстого; а потому не мъщанство, но индивидуализмъ является главнымъ объектомъ ихъ изученія. Оба онилюди и писатели настолько громадные, что одинъ подробный разборъ ихъ отношенія къ проблемѣ индивидуализма потребоваль бы особой обширной работы; въ этой главъ мы можемъ только затронуть наиболъе важные пункты, не останавливаясь на мелочахъ.

VI.

По отношению къ Толстому этотъ вопросъ былъ уже отчасти разработанъ Михайловскимъ въ его «Запискахъ профана» (1875 г.). Въ рядъ статей «Десница и шуйца Льва Толстого» Михайловскій старался показать, что по-

стоянная борьба индивидуализма съ анти-индивидуализмомъ, «десницы» съ «шуйцей», составляетъ характернъйшую черту міровоззрѣнія Толстого; впослѣдствін (въ 1892 г., см. «Русское Богатство», № 2) Михайловскій пъсколько дополнилъ эту свою теорію, не измъняя ес по существу, которое и до сихъ поръ остается вполнъ върнымъ. Конечно, Толстой - слишкомъ крупная величина и не умъщается въ какихъ бы то ни было схемахъ и рамкахъ; къ тому же часто встръчающіеся мало мотивированные скачки его мысли (вспомнимъ, напримъръ, эпизодъ съ «Крейцеровой Сонатой») еще болже препятствують гармоничному развитію его міровозэрвнія. Мы не имфемъ, такимъ образомъ, твердыхъ данныхъ для рфшенія вопроса, является ли столкновеніе пидивидуализма и антииндивидуализма въ міровоззртній Толстого дтиствительной одновременной борьбой или последовательной сменой; лично мы склоняемся, какъ увидитъ читатель, къ тому мнтнію, что въ шестидесятыхъ годахъ (о восьмидесятыхъ рѣчь будетъ ниже) Толстой, подобно всѣмъ шестидесятникамъ, безпомощно колебался въ мертвой зыби индивидуализма и анти-индивидуализма. Тутъ не было ни ръзко выраженной борьбы десницы съ шуйцей, не было и посл'єдовательной сознательной см'єны одного направленія другимъ; это была толчея, въ которой, вероятно, не умълъ разобраться и самъ Толстой: то выскакивала волна индивидуализма, то ее смънялъ приливъ анти-индивидуализма, то объ волны зарождались одновременно и мирно шли параллельно другъ другу... Основной чертой Толстого всегда было исканіе; но разбросанность его широкой натуры не позволяла ему сводить результаты своихъ понсковъ къ едному общему центру. Вотъ почему при всей громадной силъ своего ума Толстой совершенно не могъ создать гармоничнаго и цъльнаго міровозэрьнія; да оно и не было ему нужно.

Пъльную, полную человъческую индивидуальность Толстой всегда цънилъ высоко. Мы уже видъли, что еще въ «Казакахъ» (1852 г.) Толстой противопоставляетъ полную жизнь личности узкому и ограниченному мъщанству; Оленинъ, его alter ego, сознаетъ, что въ полнотъ жизни — главная ея прелесть. Но Оленинъ все-таки еще

сынъ своего въка, испорченный и исковерканный худшими сторонами цивилизацін; въ этихъ же «Казакахъ» Тоястой рисуеть намъ замъчательный образъ величайшаго индивидуалиста: это — дядя Ерошка (II, 155—166 и др.). Это-простой, непосредственный, цёльный человёкъ, такой же могучій, какъ окружающая его природа Кавказа; это-представитель глубочайшаго инстинкта жизни, не понимающій и не признающій никакихъ сужигающихъ личность человъка ограниченій. «Все Богь сділаль на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ» - вотъ начало и конецъ его философін; и вмёстё съ этимъ онъ чувствуетъ горячую любовь ко всему живому: гръха нътъ ни въ чемъ, «сдохнешь - трава вырастеть на могилкъ, вотъ и все», -- и въ то же время онъ жалтеть не только всякаго убитаго джигита («душу загубить мудрено, охъ, мудрено!»), но даже и бабочку, летящую на огонь («сгоришь, дурочка, вотъ сюда лети, мъста много... Сама себя губишь, а я тебя жалью»...). Длдя Ерошка — это яркая и цёльная индивидуальность, представитель инстинкта жизни; въ этомъ отношении Толстой пребылъ пидивидуалистомъ отъ начала и до конца своей дъятельности: идеалы его менялись, но «пьяница и воръ Ерошка» никогда не былъ помраченъ и осужденъ имъ за свою сущность, ибо такъ или пначе выраженная любовь жизни всегда была характерной чертой Толстого.

Въ «Войнъ и Миръ» (1864—1869 гг.) мы находимъ другую постановку вепроса объ индивидуальности, о жизни: въ дядъ Ерошкъ мы видъли внъшнюю сторону вепроса, въ Пьеръ Толстой разсматриваетъ внутреннюю сторону и ея эволюцію. Внъшняя сторона, снова слегка затронутая, между прочимъ, въ Андреъ Болконскомъ, является шагомъ назадъ по сравпенію съ философіей дяди Ерошки, что, въ концъ концовъ, подчеркиваетъ и самъ Толстой. «...Придутъ французы, возьмутъ меня за ноги и за голову и швырнутъ въ яму, чтобъ я не вонялъ имъ подъ носомъ, и сложатся новыя условія жизни, которыя будуть также привычны для другихъ, и я не буду знать про нихъ, и меня не будетъ» (VII, 234). Любовь жизни замъняется здъсь страхомъ смерти, что далеко не однозначно; цъня жизнь и все живое болье князя Андрея,

дядя Ерошка всегда спокойно глядёль въ лицо смерти, котя и говориль, подобно князю Андрею: «сдохнешь — трава вырастеть на могилке, воть и все»... Человёкь, любящій жизнь и все живое, —всегда немного пантеисть; основная, скрытая мысль князя Андрея (если меня не будеть, то какъ и зачёмъ существовать міру?), рёзко выраженная еще Базаровымь, не можетъ быть принята дядей Ерошкой, цёнящимъ полноту своей жизни и жизни вообще.

Дальнъйшая эволюція князи Андрея заключалась въ подавленіи страха смерти при помощи «пробужденія отъ жизни», какъ выражается Толстой (см. особенно VIII, 65-75); развитіе мыслей Пьера можеть считаться непосредственнымъ продолженіемъ и примиреніемъ этой точки зртнія. Пьеръ хохочеть надъ ттиь, что французы взяли его въ плѣнъ: «въ плѣну держатъ меня. Кого меня? Меня? Меня-мою безсмертную душу!» И далъе: «Пьеръ взглянуль въ небо, въ глубь уходящихъ, играющихъ звъздъ. «И все это мое, и все это во мнъ, и все это -я!» думаль Пьеръ. «И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками!» «Онъ улыбнулся» (VIII, 122). Ошибочно было бы видъть въ этомъ славянофильскую точку зрвнія, убогую пдею о примать свободы внутренней надъ внъшней, идею, которой впослъдствіи такъ грѣшило толстовство и даже самъ Толстой; нъть, здъсь просто переходъ отъ внъшней шпроты міра дяди Ерошки къ внутренней безграничности духовнаго міра, причемъ первый не отридается вторымъ. Пьеръ нашелъ теперь Bora, и какъ бы ни были различны Borъ его и Богъ дяди Ерошки, но любовь жизни есть то общее, что отличаетъ и дядю Ерошку, и Пьера хотя бы отъ проникнутой страхомъ и трепетомъ философіи князя Андрея. Пьеръ теперь «выучился видёть великое, вёчное и безконечное во всемъ, и потому, естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцаніемъ, онъ бросиль трубу, въ которую смотрълъ до сихъ поръ черезъ головы людей и радостно созерцалъ вокругъ себя въчно измъняющуюся, въчно великую, непостижимую и безконечную жизнь» (VIII, 237). Въ этомъ сходятся и Пьеръ, и дядя Ерошка, отличаясь отъ князя Андрея, который именно «смотритъ въ трубу черезъ голову людей», ищетъ въ будущемъ, вмѣсто того, чтобы находить въ настоящемъ; дѣйственное переживание дяди Ерошки и радостное созерцание Пьера—это двѣ стороны одной медали, и оба они восполняютъ другъ друга.

Взгляды Пьера на жизнь и на личность выражены Толстымъ въ извъстномъ снъ Пьера, въ концъ XIV-й части романа. Пьеръ нашелъ своего Бога: для него этожизнь, жизнь блаженная и радостная, ибо «все Богь сдълалъ на радость человъку», какъ говорилъ дядя Ерошка «Жизнь есть все. Жизнь есть Богъ. Все перемъщается и движется, и это движение есть Богъ... Любить жизньлюбить Бога», - такъ полусознательно думаетъ Пьеръ во снъ и вдругъ видитъ передъ собой олицетворение жизни-«живой, колеблющійся шаръ, не имфющій размфровъ. Вся поверхность шара состояла изъ капель, плотно сжатыхъ между собой. II капли эти всѣ двигались, перемѣщались и то сливались изъ нѣсколькихъ въ одну, то изъ одной раздълялись на многія. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другія, стремись къ тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались съ нею»... Здёсь мы имеемъ въ художественномъ образъ постановку проблемы индивидуализма. II пнтересно, что Толстой признаетъ здёсь право каплиличности къ расширенію въ этомъ круговоротъ жизни. Шаръ этотъ жизнь, но жизнь есть Богъ: «въ серединъ-Богъ, и каждая капля стремится расшириться, чтобы въ напбольшихъ размърахъ отражать Его. И растетъ, и сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходить въ глубину и опять всилываетъ» (VIII, 182). Въ этомъ снъ нъкоторые критики захотъли увидъть выраженіе анти-индивидуализма Толстого; для этого мы не видимъ никакихъ основаній. Толстой не ратуетъ за уничтоженіе капель, за нув ухожденіе въ глубину, ничего не говорить противъ стремленія каждой капли расшириться. Онъ видить только, что въ этомъ въчномъ движенін, въчномъ взаимодъйствін личностей — вся жизнь:

In Lebenssluten, im Thatensturm Wall'ich auf und ab, Webe hin und her! Geburt und Grab,

Ein ewiges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben... 1)

Въ Пьеръ, также какъ и въ дядъ Ерошкъ, проявились двъ стороны индивидуализма Толстого; дальнъйщее развитие мыслей ихъ обоихъ мы находимъ уже въ Левинъ

изъ «Анны Карениной» (1873—1876 гг.).

Константинъ Левинъ, онъ же Левъ Толстой, — «цъльный человъкъ», «цъльный характеръ», по признанію близко знающихъ его людей (IX, 54): върнъе сказать, онъ хотёлъ бы быть такимъ, и ведетъ борьбу за свою цёльность. Такъ, напримъръ, онъ типичный «кающійся дворянинъ» и не можеть справиться съ своей уязвленной совъстью (см., напр., IX, 116; XI, 48-52 п др.), хотя и нытается выработать такое міровоззрініе и міровоздійствіе, которое дало бы мпръ его душт и цтльность его характеру. Крайній анти-міщанинь, онь всегда и во всемь «не какъ люди», «не какъ всѣ», что очень конфузитъ его жену, милую и глуповатую Кити (XI, 282-3),-и въ то же самое время, однако, трудно найти что-либо болъе мъщанское и илоское, чъмъ практическую мораль Левина этой эпохи (см. особенно X главу VIII-й части); индивидуалисть по многимъ поступкамъ, онъ, однако, часто хватаетъ черезъ край въ теоретическихъ разсужденіяхъ въ обратную сторону. Онъ узко и плоско понимаетъ благо реальной личности, основывая его на ходячемъ утилитаризмѣ (Х, 13-15); онъ проводить крайне анти-индивидуалистическій взглядъ на взаимоотношенія личности и государства, настолько анти - индивидуалистическій, что Толстой не ръшился его повторить въ отдъльныхъ издапіяхъ «Анны Карениной» послѣ 1876 г. А именно, Левинъ внолнъ раздъляетъ, яко бы виъстъ со всъмъ народомъ, ту мысль, которая выразилась въ легендъ о призваніи варяговъ: «княжите и владъйте нами. Мы радостно объщаемъ полную покорность. Весь трудъ, вст униженія, вст жертвы

¹⁾ Въ буръ дъяній, въ воднахъ бытія Я подымаюсь, Я опускаюсь... Смерть и рожденье— Въчное море; Жизнь и движенье Въ въчномъ просторъ...

мы беремъ на себя; но не мы судимъ и рѣшаемъ». (Это мѣсто выпущено въ отдѣльномъ изданіи). Нетрудно узнать въ этомъ старую славянофильскую теорію о Землѣ и Государствѣ въ ея самомъ непривлекательномъ видѣ. «Въ государственныхъ дѣлахъ... граждане отрекаются отъ своей личной воли» — авторитетно заявляетъ Левинъ (ХІ, 311).

Но этотъ крайній соціальный анти-индивидуализмъ не характеренъ ни для Левина, ни для Толстого этой эпохи, ибо оба они въ это время были переходными промежуточными людьми, не успъвшими еще собрать свои мысли воедино; неудачный, безсознательный синтезъ дяди Ерошки и Пьера въ одномъ лицт не удался Толстому. Въ Левинт есть и дядя Ерошка, есть и Пьеръ, но оба они ослаблены, разжижены, лишены цолноты и цёльности; быть можеть, именно потому Пьеръ и дядя Ерошка оставляютъ въ читателъ глубокое и цъльное впечатлъніе, въ то время какъ Левинъ оставляетъ насъ вполнъ холодными. Левинъ любить жизнь природы, какъ дядя Ерошка, но въ этой любви сквозить сильная доза разсудочности, онъ ищеть и находить Бога такъ же, какъ п Пьеръ, но въ его поискахъ еще больше холодной разсудочности и нътъ «радостнаго созерцанія» (см., напр., всю VIII-ю часть «Анны Карениной»).

Вотъ почему Левинъ оставляетъ насъ вполнъ холодными къ себъ, вотъ почему не только какъ типъ, но и какъ живая личность, онъ неизмъримо ниже и дяди Ерошки, и Пьера. Да, впрочемъ, его нельзя считать типомт, такъ какъ главные героп Толстого именно отличаются ръзкимъ отсутствіемъ типичности. Отмѣтимъ мимоходомъ, что въ этомъ мы видимъ основную черту обрисовываемыхъ Толстымъ главныхъ дъйствующихъ лицъ: всъ они - реальныя личности, индивидуальности. Обломовъ — реальнъйшій типъ, Левинъ, какъ и всъ герои Толстого, — реальнъйшая личность; Обломовы существовали, но никогда не было Ильи Ильича Обломова, Левиныхъ нътъ и не было, но былъ Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, alias Левъ Николаевичъ Толстой; воть почему имъеть смыслъ «обломовщина», также какъ и «базаровщина», «карамазовщина» и т. П., но нътъ никакого смысла въ «левинщинъ»: для этого главные герои Толстого - слишкомъ индивидуальности. Но

это только къ слову. Возвращаясь къ Левину, мы повторимъ, что синтезъ Пьера и дяди Ерошки не удался и не могъ удаться Толстому; дядя Ерошка и Пьеръ—высшіе представители индивидуализма, какихъ только обрисовалъ Толстой: выше и дальше этого онъ не пошелъ.

VII.

Гдё же та мертвая зыбь индивидуализма и анти-индивидуализма, о которой мы говорили выше? Ее можно видёть въ Левинё, но ее нётъ ни въ дядё Ерошкё, ни въ Пьерё, этихъ полныхъ и цёльныхъ индивидуалистахъ; а, вёдь, «Казаки» и «Война и Миръ» отдёлены другъ отъ друга почти пятнадцатью годами. Однако, именно въ этомъ промежуткё времени и сказалось въ Толстомъ то безпомощное шатаніе отъ индивидуализма къ анти-индивидуализму, которое еще въ 1875 г. отмётилъ Михайловскій.

Въ стать «Прогрессъ и опредъление образования» (1862 г.) Толстой вполнъ ясно и опредъленно сталъ на точку зрѣнія соціологическаго индивидуализма. Какъ извъстно, въ то время Толстой увлекался своей яснополянской школой и разбирался въ педагогическихъ вопросахъ; на этомъ фонъ ръшалась имъ и проблема индивидуализма, не только этическаго, но и соціологическаго. Мы минуемъ эту спеціальную область педагогики, темъ более, что разработка индивидуалистической проблемы на ен почвъ, предпринятая Толстымъ, была въ свое время достаточно ярко освъщена въ статьяхъ Михайловскаго. Замътимъ мимоходомъ, что основнымъ требованіемъ педагогики Толстой считаеть полную самостонтельность ребенка, шпрокую свободу въ школъ и безусловное подчинение учителя индивидуальности каждаго отдёльнаго ученика. «Всякая отдъльная личность — пишеть, напримъръ, Толстой — для того, чтобы выучиться наискортишимъ образомъ грамотт, должна быть обучена совершенно особенно отъ всякой другой, и потому для каждаго должна бы быть особая метода» (IV, 49; см. еще 224, 291). Подобно встыть шестидесятникамъ, подобно Добролюбову и Писареву, но еще ръзче ихъ, Толстой всецъло отрицаетъ право воспитанія ребенка и признаеть только право образованія. Воспитаніе, съ его точки зрвнія, есть стремленіе подавить чужую индивидуальность, а потому «восинтаніе, какъ умышленное формированіе людей по извъстнымъ образцамъ, неплодомворно, пезаконно и невозможно» (IV, 93—94; см. еще 96, 119, 121 и др.). Права восинтанія не существуєть: «чими вы докажете это право?»—подчеркиваетъ Толстой: «...вы признаете и полагаете новое для насъ несуществующее право одного человъка дълать изъ другихъ людей такихъ, какихъ ему хочется». Человъческая личность настолько цъна и самоцъльна въ глазахъ Толстого, что насильственное вліяніе на нее онъ считаетъ величайшимъ преступленіемъ, доказывающимъ только «перазвитость человъческой мысли».

Вопросы педагогики заставили Толстого глубже вдуматься въ проблемы соціологическія; туть онъ сталь, какъ мы уже указали, предшественникомъ критическаго народничества. Мы уже отмътили, что въ своей статьъ «Прогрессъ и опредъление образования» Толстой указалъ на противоположность интересовъ націи и народа и выставилъ впередъ приматъ блага реальной личности; теперь остановимся на другомъ пунктъ этой статьи, уже отмъченномъ Михайловскимъ, именно-на отношении Толстого къ такъ называемому «историзму». Историческая точка зрънія-это крайній детерминизмъ въ соціологіи, приближающійся къ фатализму, и противъ него протестуетъ Толстой во имя правъ человъческой личности; его возмущаеть, что, согласно историзму, мертвыя событія фатально раскладываются по историческимъ рамкамъ: «мало того, каждая личность человъческая тоже тамъ гдъ-то копошится, подчиненная неизмъннымъ историческимъ законамъ» (IV, 133). «Человъкъ имъетъ право быть свободнымъ» - противополагаетъ Толстой историзму свое убъждение, но въ то же самое время онъ далекъ отъ индетерминизма: онъ самъ вполнъ опредъленно указываетъ, что «изгять изъ-подъ историческихъ условій нельзя ничего, ни на дълъ, ни даже въ мысляхъ» (IV, 151). Признаніе челов'єка свободнымъ (мы не говоримъ о свобод'є воли всл'єдствіе массы недоразумівній, соединенных съ этимъ понятіемъ), и въ то же самое время признаніе закономфрности исторіи есть проявленіе яркаго и полнаго

индивидуализма, въ то время какъ индетерминизмъ является ультра-индивидуализмомъ, а фатализмъ—анти-индивидуалистической теоріей. Отрицая крайнюю анти-индивидуалистическую точку зрѣнія истеризма, Толстой явился предтечей не только критическихъ народниковъ, но и поколѣнія начала XX-го вѣка: только съ середлны 90-хъ годовъ въ русской литературѣ (особенно, юридической) ноявилось теченіе, направленное противъ историзма.

Итакъ, свободная человъческая личность и закономърность историческаго процесса—воть основное положеніе Толстого, ясно высказанное имъ въ 1862 году;
если мы прибавимъ къ этому, что свои педагогическіе
взгляды Толстой цѣликомъ повторилъ и дополнилъ въ
1874 г. (въ статьѣ «О народномъ образованіи», въ «Отечественныхъ Запискахъ», № 9), то отсюда можно было
бы заключить, что за все это десятилѣтіе Толстой продолжалъ держаться своего основного ярко-индивидуалистическаго взгляда. И, однако, въ этотъ же самый промежутокъ времени (1864—1869 гг.) онъ развивалъ свою безнадежно анти-индивидуалистическую философію «Войны и

Мира».

Существуетъ ошибочное мнтніе, будто бы въ «Войнт и Миръ» Толстой отрицательно ръшаеть вопросъ о роли личности въ исторіи. Если бы, действительно, только въ этомъ заключался центръ тяжести философской стороны романа, то Толстого никоимъ образомъ нельзя было бы обвинить въ анти-индивидуализмъ, такъ какъ мы знаемъ, что можно отрицать вліяніе личности на историческій процессь и въ то же время быть типичнымъ пидивидуалистомъ, и наоборотъ; можно отрицательно относиться къ теоріи «героевъ», творящихъ исторію, но въ то же время признавать реальную личность свободной. Толстой въ философской части «Войны и Мира» настолько же отрицаеть первое, насколько и второе, и передъ нами вырисовывается типичный фаталисть, насмётливо третирующій человъческую свободу, признающій каждое дійствіе каждаго человъка, также какъ и суммы ихъ, фатально предопредъленнымъ свыше... И это въ то время, когда еще не успъли обсохнуть чернила на перъ, которымъ были написаны его статьи, порицающія крайній детерминизмъ историческаго возэрѣнія! И это въ томъ самомъ произведеніи, въ которомъ свободное непосредственное чувство Платона Каратаева преображаетъ Пьера, въ которомъ самъ Пьеръ достигаетъ такой высоты свободно развивающейся индивидуальности.

Все, что говорить Толстой о рели личности въ исторіи, нисколько не противоржчить самому последовательному индивидуализму. «...Великіе люди — пишеть онъ — суть ярлыки, дающіе напменованіе событію, которые, также какъ ярлыки, менте всего питьють связи съ самымъ событіемъ». Онъ неутомимъ въ своихъ насмѣшкахъ надъ Наполеономъ, какъ «великимъ человъкомъ», по произволу «дълавшимъ исторію»; Наполеонъ для него «полобенъ ребенку, который, держась за тесемочки, привязанныя внутри кареты, воображаеть, что онъ править» (VII, 8; VIII, 106; cm. Takke VII, 253-4; VIII, 96, 275, 341 п др.). Въ этомъ приниженіи героевъ Толстымъ отчасти даже руководить инстинкть индивидуализма; Толстой, вследь за Добролюбовымъ, какъ будто даже заступается за права всякой отдёльной реальной личности. «Личная дъятельность его (Наполеона), не питвиая больше силы, чъмъ личная дъятельность каждаго солдата, только совпадала съ теми законами, по которымъ совершалось явленіе», замічаеть онь въ одномъ мість; а въ другомъ еще яснье, еще рельефнье: «всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человъкъ, чъмъ всякій Наполеонъ» (VIII, 96; VII, 254). Толстой понималь, что теорія «героевъ», какъ главныхъ двигателей исторіи, черезчуръ напвна, - н въ этомъ не было ничего анти-индивидуалистическаго; онъ смутно сознавалъ, далъе, что движеніе исторіи настолько же необъяснимо и выставленіемъ на первый планъ однёхъ только «пдей» (см. VIII, 349 п др.), но онъ не умълъ ясно формулировать - что же двигаетъ исторію? Пытаясь дать отвіть, онъ пришель къ безсодержательной формулъ, что исторію двигаютъ впередъ не героп, не идеи, а взаимодъйствие естах людей, вспах безъ исключенія пидивидуальностей (VIII. 352, 370 и др.; ср. VII, 77); выставлять въ видъ ръшенія этотъ трюнзмъ, конечно, еще болье наивно... Ръшить вопросъ Толстой не могъ, но важно то, что онъ

вполнъ отрицательно отнесся къ индетерминистическому признанію роли личности въ исторіи; характерно также и то, что культъ «героевъ» онъ разрушалъ вполнъ индивидуалистическими аргументами.

Но все это, однако, только одна сторона вопроса; рядомъ стоитъ другая, это - вопросъ о направленіи личной дъятельности всякаго изъ насъ. Тутъ-то и запутался Толстой въ сътяхъ фаталистическаго анти-индивидуализма. Теорія причинности, которой придерживался Толстой, завела его въ дебри признанія цълесообразности отдъльныхъ частей исторического процесса и одновременно къ утвержденію, что это именно процессъ, а не прогрессъ. Какъ соединялъ Толстой эти взаимно-исключающія другъ друга положенія—непонятно; но факть тоть, что они одновременно мирно уживались въ его сознаніп. Далъе. Признавь причину суммой факторовъ, Толстой доказывалъ неприложимость теоріи причинности къ сущности физическихъ явленій (VII, 5, 7-8; VIII, 76, 371 и др.); въ этой мысли есть доля върнаго и, какъ извъстно, ее поддерживаеть цёлая школа физиковъ во главъ съ Э. Махомъ. Но, исходя изъ этой мысли, Толстой сталъ доказывать неприложимость теоріп причинности къ явленіямъ псторическимъ и соціальнымъ-къ нимъ самимъ, а не къ сущности ихъ; отказавшись же отъ имманентной закономфрности историческаго хода событій, Толстой неизбъжно пришелъ къ закономърности трансцендентной, воплошающейся въ формъ рокового предопредъленія. Онъ пришель къ фатализму.

VIII.

Трудно сказать, быль ли Толстой подъ вліяніемъ нівмецкой философіи въ то время, когда писаль «Войну в Миръ»; мы знаемъ, вирочемъ, что Толстой увлекался Щопенгауеромъ. Во всякомъ случать, въ вопрость о свободъ Толстой пытается слъдовать по пути, проложенному критической философіей, перенося зсвободу» въ область должнаго и оставляя необходимость въ мірть сущаго; но онъ не пытался провозгласить приматъ перваго надъвторымъ. Для него свобода есть содержаніе, укладываю· щееся въ формы необходимости (VIII, 387), и пакакого прината содержанія падъ формой онъ не провозглащаеть. Интересно отм'втить, между прочимь, что Толстой гиностазируетъ понятіе свободы; для него свобода-такая же сила природы, какъ электричество, тепло и т. п.! Ея единственное отличіе отъ всякой другой силы только въ темъ, что она созпаваема человъкомъ, но и то «для разума она ничтыть не отличается отъ всякой другой силы..., (она) енчъмъ не отличается отъ тяготънія, или тепла, или силы растительности» (VIII, 388). Эта поистинъ невъротная теорія приводить Толстого къ опредъленію предмета исторіи, какъ проявленія этой «силы свободы» въ временных, пространственныхъ и причинныхъ формахъ. Здёсь, казалось бы, еще нёть фатализма, тёмъ болье, что Толстой какъ будто признаетъ свободу человъка въ его личной жизни (см., особенно, VII, 6 и др.), но онъ совершенно исключаеть свободу изъ поля дъйствій не одного пидивида, а комплекса ихъ; по его митнію, исторія такъ же не можетъ признать свободнаго дъйствія людей, какъ астрономія не можеть признать свободнаго движенія небесныхъ тёлъ, ноо сесли существуетъ одинъ свободный поступокъ человъна, то не существуеть ни одного историческаго закона и никакого представленія объ историческихъ событіяхъ» (VIII, 389). Конечно, Толстой совершенно правъ; исторія должна объяснять явленія, не опираясь на такую шаткую почву, какъ свободные поступки отдельныхъ индивидуумовь; здёсь Толстой стоптъ на точкъ зртнія того самаго детерминизма, который онъ провозглашалъ еще въ своей статьъ «Прогрессъ и опредъленіе образованія».

Но чуть дёло доходить до приложенія этой отвлеченной теоріи къ непосредственнымь историческимъ фактамъ и явленіямъ, какъ строго-научный детерминизмъ Толстого преобразовывается въ грубъйшую форму фатализма. Отрицая возможность причиннаго объясненія историческихъ явленій, путал понятія причины, условія и повода, Толстой доказывалъ невозможность пониманія «разумности» хода исторіи, т. е., другими словами, онъ одной рукой въ основаніи разрушалъ тоть самый детерминизмъ, который созидаль другой рукой въ то же самое время. «Фатализмъ

въ исторіи неизбёженъ для объясненія неразумныхъ явленій», - пишеть Толстой, считая всъ историческія событія въ ихъ причинной связи не подлежащими «разумному» объяснению. Оперируя съ понятиемъ сложной причины, игнорируя понятіе отдъльныхъ причинныхъ соотношеній (съ которыми только и имфеть дело наука), путая поводы, условія и причины, Телетой приходить къ выводу, что «ничто не было исключительною причиной событія, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться» (VII, 5, 6). Это изумительное объяснение ясно показываеть, что Толстой, принявъ понятіе необходимости, не умъль съ нимъ справиться; въ иныл минуты онъ ясно понималь, что существують же законы исторического движенія, и иногда онъ именно этотъ сиыслъ придавалъ своему утвержденію, что событіе совершилось потому, что должно было совершиться (VIII, 76). Но въ чемъ и где искать эти законывотъ вопросъ, передъ которымъ складывалъ оружіе Толстой, смиренно признавая, что фатализмъ неизбъженъ въ исторіи, что «ходъ міровыхъ событій предопредъленъ свыше» (VII, 254). Онъ доходить, наконецъ, до геркулесовыхъ столповъ, признавая, что Провидъніе «въ своихъ личныхъ цёляхъ» (!!) заставило людей участвовать въ наполеоновскомъ нашествін на Россію (VII, 115). (Надо, впрочемъ, замътить, что грамматическая конструкція фразы Толстого до того плоха, что еще неизвъстно, къ Провидению или къ людямъ относится выражение, взятое въ кавычки).

Но какъ бы то ни было, Толстой, конечно, не могъ удовлетвориться отвётомь, что то или иное событіе— напримёрь, наполеоновское нашествіе— совершилось потому, что совершилось, или потому, что такова была всемилостиьтёймая воля Провидёнія; онъ понималь, что отвётить такъ— значить инчего не отвётить. Поэтому Толстой изобрётаеть законъ историческаго движенія народовъ съ запада на востокъ, а потомъ съ востока на западъ. Въ этомъ, вопреки самому себъ, онъ видить даже смыслъ, разумность историческихъ событій начала XIX-го въка. Провидёнію угодно было, чтобы народная волна хлынула съ запада на востокъ, разбилась у стёнъ Москвы, и

чтобы вторая народная волна хлынула съ востока на эападъ п отъ Москвы докатилась до Парижа: въ этомъ—
«основной, существенный смыслъ европейскихъ событій
начала нынѣшняго столѣтія» (VIII, 276). Для этого, по
приказанію Провидѣнія, совершается французская революція, возвышается Наполеонъ и, вообще, совершается то,
что должно было совершиться... Въ этомъ изумительномъ
объясненів курьезнѣе всего искреннее убѣжденіе Толстого,
что его объясненіе дѣйствительно что-то объясняеть; стоитъ
только допустить «законъ» Толстого — и все становится
понятнымъ: «...допустимъ, что должены были люди Европы,
подъ предводительствомъ Наполеона, зайти въ глубъ Россіи
и тамъ погибнуть, — и вся противорѣчащая сама себъ, безсмысленная, жестокая дѣятельность людей, участниковъ
этой войны, становится для насъ понятною» (VII, 115).

Глубочайшее философское паденіе Толстого въ этой своеобразной «философіи исторіи» представляется слишкомъ очевиднымъ, чтобы нуждаться въ комментаріяхъ; впрочемъ, этому вопросу посвящена уже особая литература, такъ что мы тъмъ болъе можемъ пройти мимо. Мы хотьли только отмътить крайній фатализмъ всей этой противоръчивой и путанной теоріи, которую еще Шелгуновъ (въ 1870 г.) по справедливости назвалъ «философіей застоя» и «философіей коллективнаго фатализма». Какъ видимъ теперь, въ «Войнъ и Миръ» не только отрицается роль личности въ исторіи, этого мало. Толстой пропов'туетъ, далъе, полное подчинение личности волъ Провидінія, пбо ходъ міровыхъ событій предопреділенъ свыше. Противопоставляя самонадъянному Наполеону-Кутузова, этого върнаго блюстителя личныхъ цълей Провидънія, онъ предоставляеть ему только минимальное психологически-регулирующее значение на толпу и даже не позволяетъ ему самому додуматься до необходимости перехода русской армін съ рязанской дороги на калуж. скую, пбо это тоже должно было случиться фатально... Въ Кутузовъ Толстой старательно подчеркиваетъ «отсутствіе всего личнаго»; Толстого особенно утъщаеть то, что въ Кутузовъ «не будетъ ничего своего. Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ» (VII, 200), и въ этомъ величайшая похвала шуйцы Толстого народному

русскому герою, въ этомъ онъ хочетъ видъть основную черту русскаго духа. По крайней мъръ, въ типъ Каратаева, который является для Толстого «олицетвореніемъ всего русскаго», эта черта еще разъ подчеркнута и дополнена: Каратаевъ полагалъ, что «жизнь его, какъ онъ самъ смотрълъ на нее, не имъла смысла, какъ отдъльная жизнь. Она имъла смыслъ только какъ частица цълаго, которое онъ постоянно чувствовалъ» (VIII, 58). Мы видимъ, такимъ образомъ, что фаталистическая философская теорія Толстого оказала вліяніе и на обрисовку характеровъ дъйствующихъ лицъ «Война и Мира»; едва ли это вліяніе можно признать благотворнымъ.

Общій выводъ таковъ: понытка Толстого рёшить вопросъ объ исторической необходимости и свободъ привела его къ плачевному результату, -- къ философіи фатализма, а, значить, и къ крайнему анти-индивидуализму. Дълая изъ личности безвольную деревяшку, которую Провидъніе ставить на любую клътку шахматной доски, Толстой тщетно старался убъдить себя въ томъ, что это не мъшаетъ личности имъть свободу во внутренней жизни. Какая ужъ тутъ свобода, когда историческая жизнь есть просто рядъ шахматныхъ партій, искусно разыгрываемыхъ Провиденіемъ? Одна изъ этихъ партій началась въ серединъ XVIII-го въка, шахматной доской служила Европа; сначала въ этой партіи «бълые» развиваютъ и концентрируютъ свои силы, послъ чего направляють энергичнъйшую атаку на заранъе намъченный пунктъ, на какую-нибудь клътку 77, или какъ тамъ она зовется.. Человъкъ по слъпотъ своей думаетъ, что это не квадрать 17, а цёлый городь, Москва, съ тысячами живыхъ, чувствующихъ людей, -- но это только аберрація зрънія и близорукость, неумъніе охватить однимъ взглядомъ гигантскую шахматную партію и атаку, предпринятую въ личныхъ цёляхъ Провидёнія. Атака отбита, «бёлымъ приходится уводить свои фигуры обратно, и тутъ начинается стремительная контръ-атака «черныхъ» въ противоположномъ направленін; Парижъ занять, - а Парижъ это какая-нибудь клътка с2 или что-нибудь въ этомъ родъ, -- и бълый король получаетъ шахъ въ Фонте-

небло и матъ на островахъ Эльбы и св. Елены. Дли-

вшаяся полвъка партія кончена, и Провидъніе снова разставляеть шашки по своимь мъстамь; начинается новая партія... Перечтите ІІІ и ІV главы первой части эпилога «Войны и Мира» (VIII, 276, 284) и судите сами, много ли шаржа въ только-что нарисованной картинъ.

И подумать только, что, созидая эту свою анти-индивидуалистическую теорію, Толстой въ то же время выражаль ярко-индивидуалистические взгляды, какъ это мы уже видели выше; туть нёть ни смёны воззреній, туть нътъ ни борьбы ихъ - они мирно уживаются рядомъ, безмятежно идуть другь за другомъ. Изумптельный по силъ аналитическій умъ, Толстой быль вполнѣ лищенъ всякой синтетической способности; только этимъ и можно объяснить ту поражающую съ перваго же взгляда путаницу его мыслей въ одной и той же области, въ одно и то же время. У Чернышевскаго, а еще болъе у Писарева мы видѣли такую же мертвую зыбь индивидуализма и антипидпвидуализма, но тамъ хоть точки приложенія ихъ были совершенно различны, а отчасти различно и время. У Писарева, напримъръ, этическій анти-индивидуализмъ уживался съ соціологическимъ индивидуализмомъ и ультраиндивидуализмомъ; у Толстого же индивидуализмъ и антииндивидуализмъ уживаются безъ всякой борьбы и безъ всякой сміны въ одной и той же области соціологіи и исторіи. Онъ одновременно способенъ метать громы противъ «историзма» и проповъдывать крайній видъ историзма-фатализмъ, утверждать историческій приматъ личности и считать личность пъшкой въ рукахъ Провидънія. Привести къ одному знаменателю свои разноръчивые взгляды Толстой не хотиль и не могь; исполинь по силъ анализа, онъ быль слабъе ребенка въ «гармонизаціи» своихъ воззрѣній; отсюда—рѣжущая дисгармонія его взглядовъ и убъжденій.

Анти-индивидуализмъ «Войны и Мира» настолько же рѣшителенъ, насколько безповоротенъ индивидуализмъ статьи «Прогрессъ и опредѣленіе образованія». Впрочемъ, и въ самомъ романѣ можно прослѣдить ту же мертвую зыбь индивидуализма и анти-индивидуализма между философіей нѣкоторыхъ лицъ романа и его философской частью; однако, въ этомъ случаѣ противорѣчіе будетъ

лежать уже въ разныхъ областяхъ. Мы говоримъ о томъ этическомъ индивидуализмѣ, задатки котораго мы уже видъли въ Пьеръ. Какъ можно было примирить этотъ этическій индивидуализмъ съ рёзкимъ отрицаніемъ личности историко-философскими построеніями романа, какъ примиряль это Толстой, -- мы не знаемъ; по крайней мъръ, онъ нигдъ не высказалъ вполнъ ясно и опредъленно хотя бы ту мысль, что фатализмъ не противор вчить этической свободъ личности. Пусть это невърно, но на этой почвъ дъйствительно можно было попытаться основать свои взгляды. Во второй части эпплога къ «Войнъ и Миру» Толстой действительно стремится доказать, что этически личность свободна, исторически же — детерминирована (VIII, 371-393), но, въдь, детерминизмъ не фатализмъ, и въ этомъ все дъло. Фактъ, однако, остается фактомъ: несмотря на крайній анти-пидивидуализмъ историко-философскихъ воззрѣній «Войны и Мира», Толстой въ то же самое время является этическимъ индивидуалистомъ; тъ страницы романа, которыя не запачканы неудачной quasi-философской теоріей, лучше всего показывають, какъ любитъ и какъ цѣнитъ Толстой живую человѣческую личность.

Этическій индивидуализмъ Толстого былъ его постояннымъ спутникомъ при всёхъ безконечныхъ блужданіяхъ его мысли въ самыхъ противоположныхъ направленіяхъ; какъ извъстно, въ восьмидесятыхъ годахъ этика стала для Толстого тъмъ центромъ, къ которому притягивались его мысли. Къ этой эпохъ жизни п міровозэрънія Толстого мы теперь и переходимъ, не имъя возможности даже мимоходомъ остановиться на послёдовательномъ развитіи его взглядовъ; можно только указать, - и это, кажется, теперь признано всеми, - что никакого «перелома» міровоззрѣнія Толстого въ началѣ 80-хъ годовъ не было и не могло быть, не могло быть хотя бы уже по одному тому, что изъ такихъ «переломовъ» силошь состояла вся жизнь, вся дъятельность Толстого. Если же въ восьмидесятыхъ годахъ этотъ «переломъ» былъ нъсколько ръзче, то все-таки и въ немъ имфются только тъ элементы, проследить которые можно еще у Толстого пятидесятыхъ годовъ. Все это не входить, однако, въ нашу задачу, это

дъло историковъ литературы; въ дальнъйниемъ мы будемъ считать общензвъстными основныя черты ученія Толстого 80-хъ годовъ и главное вниманіе обратимъ только на то взаимоотношеніе индивидуализма и анти-индивидуализма, которог и теперь не стало менъе противоръчивымъ, хотя и значительно измѣнило свой характеръ.

IX.

Ученіе Толстого, толстовство... О толстовствъ рѣчь впереди, но уже теперь можно сказать, что Толстой не быль толстовцемъ. Толстовцы -- не говоримъ объ исключеніяхъ-это въ большинствѣ случаевъ. «servum pecus», стадо рабовъ; благоговъйно прислушивались они ко всякому глаголу, исходившему изъ Ясной Поляны, и слъпо исполняли все услышанное: сегодня учитель шилъ сапоги, завтра считалъ это занятіе излишнимъ, ибо можно обойтись и безъ саногъ, сегодня онъ проновъдывалъ необходимость усиленнаго д'єторожденія, завтра рекомендоваль безусловную дъвственность... Смъщно было бы ловить Толстого на этихъ слишкомъ очевидныхъ противоръчіяхъ: не въ нихъ суть, а въ причинахъ ихъ возникновенія. Сильный аналитическій умъ Толстого безпощадно вскрываль всю ненормальность отказа женщины отъ семьи и личной жизни во пия науки, труда и чего-либо подобнаго; не менте ясно обнаруживаль онъ и глубокую ложь, лежащую въ основъ современной семьи, -- и въ обоихъ случаяхъ Толстой былъ правъ, съ изумительной сплой и проникновеніемъ вскрывая отрицательныя стороны діаметрально противоположныхъ явленій; по онъ быль не въ состояніи подвести своему анализу общій итогъ и синтезпровать свои взгляды. «Часто онъ говорилъ совершенно противоположное тому, что онъ говорилъ прежде, но п то, п другое справедливо» -- такъ говорить Толстой о Платонъ Каратаевъ (VIII, 57), а мы съ еще большимъ основаніемъ можемъ сказать о самомъ Толстомъ. Мощная индивидуальность его не страдала отъ этихъ противоръчій, такъ какъ въ каждый данный моментъ онъ глубоко убъжденно върплъ въ истинность своего теперешняго взгляда, впитывалъ его въ плоть и кровь, растворяль въ своей личности. Завтра онъ съ такимъ же

торячимъ убъжденіемъ признаетъ истиной совершенно противоположное—что за бъда! Онъ подчинитъ и этотъ новый взглядъ своей личности, онъ индивидуаливируетъ его сътой силой, которая возможна только для Льва Толстого. А вокругъ него стоятъ крохотные людишки, порожденія эпохи восьмидесятыхъ годовъ, и тренетно прислушиваются къ тому, что сегодня скажетъ учитель. Ірѕе dixit—и пмъ больше ничего не нужно: они торонятся подчинить свою убогую индивидуальность чужой мысли, чужой волъ, чужому ръшенію... Толстой все ръшалъ «для себя одного», для своей гигантской личности; толетовцы изъ этого ръшенія дълали схему, шаблонь— и погрязали въ безпросвътномъ

мъщанствъ.

Все громадное значеніе пропов'єди Толстого восьмидесятыхъ годовъ заключается въ ея этическомъ индпвидуализмъ; выставляя на первый планъ этику, Толстой, какъ мы увидимъ, по существу продолжалъ дъло Достоевскаго и быль предтечей того этпческаго движенія, которое стало сильнымъ въ русской мысли начала ХХ-го въка. Но и въ этой его проповъди этицизма и, такъ сказать, этизаціи жизни легко замътить ту же толчею индивидуализма и анти-индивидуализма, которая характеризовала его возържнія пятидесятыхъ, шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Теорія «непротивленія влу насиліемъ», основная зеорія Толстого, сама въ корнъ противоръчить себъ, ибо, съ одной стороны, она осуждаетъ насиліе надъ личностью челов'єка и тъмъ самымъ, съ другой стороны, фактически санкціонируеть его. Это крайне книжная, анти-индивидуалистическая теорія, надъ сущностью которой ядовито, р'єзко и справедливо посм'вялся еще Достоевскій по новоду философін Левина въ «Аннт Карениной» (Къ слову сказать, весь этотъ романъ, съ его характернымъ эпиграфомъ «Мый отмщение и Азъ воздамъ», служить естественнымъ вступленіемъ къ теоріи непротивленства). Какъ поступить Левину, если передъ нимъ стоитъ турокъ и собирается убить ребенка? «Пеужени дать замучить его, неужели не вырвать сейчась же изъ рукъ элодея-турка?» - - спрашиваетъ Левина Достоевскій.

- «Да, вырвать, (отвъчаеть Левинъ) но, въдь, по-

жалуй, придется больно толкнуть турка?

- Ну, и толкни!

- Толкни! А какъ онъ не захочеть отдать ребенка и выхватить саблю? Въдь, придется, можеть быть, убить турку?
 - Ну, и убей!

— Нёть, какъ можно убить! Нёть, нельзя убить турку. Нёть, ужь пусть онъ лучие выколеть глазки ребенку и замучаеть его, а я уйду къ Кити ... («Дневникъ Писателя»

sa 1877 r., № 7-8).

Конечно, последное немного шаржировано: Левинъ бы не ушель спокойно къ своей Кити, онъ, в роятно, бросился бы и убилъ турка, чёмъ ясно показаль бы неизбъжность расхожденія слова и д'яла при теоріи непротивленства. Внутреннее противоръчие ея заключается въ томъ, что, будучи въ принципъ индигидуалистичной, она фактически страдаетъ недугомъ анти-индивидуализма. Человъческая личность есть абсолютная ценность и убійство есть крайній гръхъ противъ догмы индивидуализма; но почему же мое непротивление насилиемъ факту убійства не есть настолько же ръзкій анти-индивидуализмъ? Убью ли я или допущу убійство - факть уничтоженія челов вческой личности остался налицо; что хуже? - оба хуже, и никакая книжно прямолинейная теорія не разрубить этоть гордіевь узель. Конечно, убійство есть уже крайнее «зло», и теорія непротивленія относится не только къ этому крайнему случаю; но, въдь, на оселкъ ръзкихъ примъровъ и выясняется цънность и прочность теоріи. А теорія Толстого приводила къ поистинъ изумительнымь, невъроятнымъ выводамъ: стоить вспомнить только его разсказы «Крестникъ» (1886 г.) или «Ильясъ» (1885 г.). Идеализація батрачества во второмъ изъ этихъ разсказиковъ не такъ возмущаеть, какъ эпизодъ съ убійствомъ разбойника во второмъ: разбойникъ замахнулся топоромъ на мать крестника, а крестипкъ убилъ разбойника, - и въ этомъ его преступленіе; все было бы къ лучшему, если бы крестникъ позволить разбойнику убить свою мать (XII, 164-5).

Итакъ, не противьтесь злому — воть общая формула, вотъ практическая программа каждаго человъка и всего человъчества. Конечно, когда на землъ воцарится вселенская гармонія, когда не будетъ ни зла, ни насилія, тогда теорія непротивленства станетъ труизмомъ; но до

тъхъ поръ еще роса очи выъстъ. Строя свою теорію непротивленія злу насиліемъ, Толстой, конечно, отнюдь не впадаль ни въ квіетизмъ, ни въ индифферентизмъ: наоборотъ, онъ звалъ на борьбу со зломъ и указывалъ лишь новый путь, новый методъ борьбы. Въ чемъ же

была здъсь его основная ошибка?

Толстой изъ фатализма вналъ въ пндетерминизмъ, изъ анти-индивидуализма -- въ ультра-индивидуализмъ. Раньше онъ былъ убъжденъ въ полнъйшемъ историческомъ безсиліи личности, теперъ онъ убъжденъ въ ея всесиліи, всемогуществъ. Человъкъ «все можеть». Исторія есть лишь рядъ выполненій его желаній, и единственная б'єда въ томъ, что желанія его направлены въ нежелательную сторону. Но и этому горю помочь легко, нътъ ничего проще и легче достигнуть вселенской гармоніи, земного рая: «стоить только всимь захотить». Это «только» (только!) — поистинъ великолъпно, эта формула — поистинъ безподобна; ею такъ просто и легко разрубаются всъ проклятые вопросы, хотя бы, напримёрь, мучительная проблема индивидуализма. Пногда Толстой самъ видитъ «все безуміе такого предложенія», что, воть, моль, мы «въ одинъ прекрасный день вздумаемъ и сейчасъ же поправимъ все это» (XII, 259-260; «Такъ что же намъ дълать?» 1884—1885); но не успъваетъ онъ дописать статьи до конца, какъ снова возвращается къ своей излюбленной формуль: «стоить только понять», «стоить только пожелать», «стоить только сговориться» (напр., XII, 292-3 и мн. др.). Удивительно ли, что послъ этого Толстой категорически отрицаеть необходимость историческаго хода событій, а вмёстё съ тёмъ отрицаеть и результать этого историческаго развитія — культуру, отрицаеть ее и по формъ и по содержанию! Формы современной культуры — плоски, мелки и въ то же время преступны; содержание ея — никому не пужно, ибо не отвъчаеть на запросы этики; къ тому же культура эта мъ. шаеть свободному, непосредственному расцвиту личности на единственно законной почвъ-на почвъ религи. Стоитъ только захотъть -- и завтра же эта гнилая культура рухнеть, а на землъ воцарится царство Божіе. Впрочемъ, царство Божіе всегда внутри насъ.

Этическій индивидуализмъ всего этого несомн'єнень; челов'єнеская личность дорога Толстому, какъ нібчто намболієє цібное во всемь окружающемь мірів, какъ то, «чему не можеть быть оцівнки, выше чего ничего нібть» (XII, 392). Античная мораль, требующая, чтобы «личность всегда приносила себя въ жертву обществу», мораль еврейская— «подчиневіе своего блага благу избраннаго народа», наконець, мораль современная, «требующая жертвы личности для условнаго блага большинства», —одинаково ненавистны Толстому; «я не могу признать значеніе своей жизни въ иллюстраціи (для жизни) другихъ людей; жизнь моя есть моя жизнь, съ монмъ стремленіемъ къ благу, а не иллюстрація для другихъ жизней», —заявляеть онъ (XII, 459).

Казалось бы, что въ этомъ достаточно ясно сказывается точка зрънія этическаго индивидуализма; но нътъ, и теперь у Толстого попрежнему смъшиваются, безъ всякой надежды на примиреніе, двъ діаметрально противоположныя точки зрънія. Съ одной стороны, личность есть ничто, человъкъ живетъ на землъ только какъ средство для неизвъстной цъли въ рукахъ Высшаго Существа; здёсь повтореніе телетовскаго анти-пидивидуализма былыхъ временъ и въры въ «личныя цъли» Провидънія. Но, съ другой стороны, тотъ же Толстой и въ то же самое время — величайшій индивидуалисть; хотя онъ и готовъ перенести цёль жизни въ будущее трансцендентное, но онъ ръзко протестуетъ противъ перенесенія ея въ будущее имманентное, если для такого перенесенія челов'єкъ долженъ признать себя средствомъ. Вслъдъ за Герценомъ Толстой повторяеть, что цёль-не въ будущемъ: цёльэто каждый данный моменть. Отсюда-его самосовершенствованіе, его признаніе царства Божія внутри насъ, его этическій индивидуализмъ. Индивидуализмъ этотъ Толстой обосновываеть на религіп и начинаеть, такимъ образомъ, вмжетъ съ Достоевскимъ то этико-религозное теченіе, съ которымъ мы познакомимся при изученій эволюціи русской мысли начала ХХ вѣка.

Подобно Достоевскому, Толстой приходить къ идей «братства», сліянія личности съ общимъ, но безь обезличенія ея. Вся истина заключена въ христіанской идей

отреченія отъ себя и служенія другимъ (см., напр., XII, 351). Въ рядъ главъ изъ книги «О жизни» (1887 г.) Толстой вполнъ ясно и опредъленно ръшаетъ вопросъ. «Жить для цълей личности разумному существу нельзя,-пишеть онъ, — нельзя потому, что вст пути заказаны ему, вет цели, къ которымъ влечется животная личность человъка, --- всъ явно недостижимы... Требованія личности доведены до крайнихъ предъловъ неразумія. Проснувнійся разумъ отрицаетъ ихъ. Но требованія личности такъ разрослись, такъ загромоздили сознаніе человъка, что ему кажется, что разумъ отрицаетъ всю жизнь... Ученіе истины указываетъ людямъ, что виъсто того обманчивато блага, котораго они ищуть для животной личности, они всегда им вотъ дъйствительное благо, всегда доступное имъ»... Это благо и заключается въ сознательномъ самопожертвованіп, самоотреченін: «животныя личности для своихъ цёлей хотять воспользоваться личностью человёка, а чувство любви влечеть его къ тому, чтобы отдать свое существованіе на пользу другихъ существъ» (XII, 413 и сл.). Когда Толстой въ позднёйшихъ статьяхъ девяностыхъ годовъ требуетъ отъ насъ, кромъ того, и безусловнаго отреченія отъ личной воли, во имя слівного повиновенія «ученію петины», то онъ снова приходить къ старому своему анти-индивидуализму; но намъ не для чего идти такъ далеко, такъ какъ и въ восьмидесятыхъ годахъ Толстой достаточно часто отдавалъ дань этой сторонъ своихъ воззрѣній.

X.

Мы уже знакомы и съ противоръчіями Толстого, и съ ихъ причинами; не будемъ удивляться поэтому, что, созидая десницей зданіе этическаго индивидуализма, Толстой въ то же самое время шуйней подкапывался подъ
него. Человъкъ—отраженіе Бога, малая часть Его; человъкъ—безконечность духа въ конечномъ тълъ; человъкъ—
ипрота и гармонія всего міра въ одномъ Я,—такъ говорить намъ Толстой-индивидуалисть; но въ то же самое
время Толстой—анти-индивидуалисть безжалостно суживаеть границы безконечнаго духа, отсъкаеть отъ чело-

въческой личности самое цънное, стираетъ всю красочность жизни и приходить къ буддійской Нирвань. «Человъкь есть нашина, которан заряжается бдой», -- пишеть Толстой своей шуйцей. Искусство, наука, красота, знаніе, жизнь -- все вздоръ; человъку нужно лишь «три аршина земли» для могилы (XII, 367; 145-158 и др.). Долой науку, ибо она не можеть отвътить на основной вопросъ -- какъ надо жить; долой искусство-ибо оно не номогаеть этизировать жизнь... Но шуйца Толстого иишетъ неразборчиво, криво и косо, несуразно: не будемъ же удивляться, что она постоянно ошибается адресомъ, путаетъ сущее съ должнымъ, истину и красоту со сираведливостью. Чего иного ждать отъ шуйцы? Утъшпися тъиъ, что самъ Толстой пногда не исполнялъ предписанія своей шуйцы, всегда жилъ полной жизнью, синтезируя красоту, истину и справедливость въ своемъ «я», въ своей могучей, сильной и властной индивидуальности. Этимъ самъ онъ лучше и полнъе всего опровергалъ свои анти-индивидуалистическія тенденцін. Его этическій индивидуализыъ всегда быль полонъ, цёленъ, ярокъ, и только онъ характеризуеть собою широчайшую индивидуальность Льва Толстого.

Таковъ общій результать; не таковы частные факты. Чтобы покончить съ ними, намъ нужно еще остановиться на соціологическихъ и соціальныхъ взглядахъ Толстого послъдняго времени и на его отношении къ свободъ внутренней и внъшней. Что касается его соціологических в воззрѣній, то о нихъ много говорить не приходится. Толстой совершенно сдаль въ архивъ свои фаталистическія и анти-индивидуалистическія теоріи. Мы уже сказали, что отъ анти-индивидуализма фатализма онъ перешелъ къ ультра-индивидуализму индетерминизма. Личность для него-все, окружающія ее условія - ничто. Онъ теперь презрительно относится къ историческимъ воззрѣніямъ Тэна: «...Тэнъ быль вообще ограниченный человъкъ, иначе нельзя объяснить его стараній свести въ исторіи человъчества вліяніе человъка почти на нуль, а главную роль предоставить различнымъ факторамъ, въ родъ воды, глины и проч. Развъ это не глупость? А Будда! А Христоеъ! Развъ они не измънили формы жизни милліоновъ

людей!? Вёдь, прогрессировать можеть не глина и вода, а только живая жизнь, руководимая духомъ, распространяющимъ въ преемственномъ видё свое вліяніе на отдаленнёйшіе вёка и поколёнія». (Такъ, по крайней мёрё, передаетъ слова Толстого П. Сергенко въ своей книге «Какъ живеть и работаетъ гр. Л. Н. Толстой», 1898 г.).

Толстой, дъйствительно, никогда не останавливался на вліяніи внъшнихъ факторовъ на историческую жизнь человъчества, по все-таки не ему бы осуждать Тэна, который со всъмъ своимъ детерминизмомъ былъ всегда противникомъ фатализма, проповъдью котораго такъ гръшилъ

авторъ «Войны и Мира».

О соціальномъ ультра-индивидуализмѣ Толстого носпъдняго періода - особенно 90-хъ годовъ и начала ХХ-го стольтія-мы скажемъ нъсколько ниже. Впрочемъ, и безъ того общеизвъстно, какимъ крайнимъ анти-государственникомъ сталъ Толстой, какъ мало по малу онъ пришелъ къ чистой формъ анархизма. Придя къ такимъ результатамъ, Толстой вполнъ логично отказался отъ положительныхъ идеаловъ политической борьбы: всякая форма государства, будь то республика, деспотія, конституціонное королевство, монархизмъ, одинаково вредна и преступна. Выбора быть не можеть. На вопросъ, что лучше, правовое государство или опричнина, - Толстой можеть отвътить только: оба хуже, ибо серебряныя кандалы настолько же сковывають человъка, какъ и желъзныя; дъло не въ нихъ. а въ абсолютной свободъ человъческой личности для жизни въ Богъ. Этотъ крайній соціальный романтизмъ, до котораго не доходили даже славянофилы, лишній разъ пллюстрпруеть то положение, что ультра-индивидуализмъ, развиваясь до крайнихъ предёловъ, переходить въ свою противоположность и становится анти-индивидуализмомъ: полное презръніе къ реальной человыческой личности, - вотъ что характерно для этихъ взглядовъ Толстого. Онъ не желаеть видъть улучшенія условій, увеличенія свободы личности при переходъ отъ опричнины къ правовому порядку; да и къ чему эта последовательность перехода хотя бы отъ условно худшаго къ условно лучшему, если «стоить только захотъть» - и сразу можно достигнуть вселенской гармоніи, царства Божія? Къ чему желаніе улучшить абсолютное эло — государственный строй, когда къ тому же царство Божіе внутри насъ? Здёсь Толстой опять соскальзываеть на почву анти-индивидуализма, противопоставляя свободу внутреннюю свободъ внъшней. Удивительно, какъ живуча эта престарълая мысль, которой питались еще славянофилы, за которую съ такимъ восторгомъ ухватились восьмидесятники и которая не миновала даже такого титана, какъ Левъ Толстой. Борьба за свободу внъшнюю - безцъльна и даже вредна, пбо прежде всего надо «освободить себя самого» отъ всёхъ внутреннихъ путь, условностей п недостатковъ. Нравственное самосовершенствование -- вотъ что важно, вотъ что нужно; когда каждый изъ насъ достигнетъ нравственнаго совершенства, то всв проклятые вопросы решатся въ ту же минуту, ибо будетъ достигнута дъйствительная внутренняя свобода, а не миническая внъшняя...

Туть въ своемъ крайнемъ ультра-индивидуализмъ Толстой впадаетъ не только въ анти-индивидуализмъ, но даже и... въ мѣщанство, какъ ни трудно произнести это слово по отношенію къ Толстому. Въ слѣдующей главѣ мы подробно выяснимъ, въ чемъ заключается мѣщанство теоріи самосовершенствованія, теперь же скажемъ только, что и въ этомъ случаѣ между Толстымъ и толстовцамивосьмидесятниками (а также восьмидесятниками не-толстовцами) — дистанція огромнаго размѣра: съ одной стороны, передъ нами глгантская личность, впадающая въ наивныя и жалкія ошибки, съ другой — толпа карликовъ, возводящая въ догму ошибки великаго человѣка.

Ошибки Толстого слишкомъ очевидны и вскрывать ихъ не приходится. Сильный аналитическій умъ, великій искатель и отрицатель, онъ не въ силахъ создать что бы то ни было положительное, приложимое къ жизни; мыслитель, погруженный въ абсолютизмъ этики и религіи, онъ нъ видитъ относительности соціальныхъ идеаловъ; теорегилъ соціальнаго ультра-индивидуализма, онъ на практикъ впадаетъ въ узкій анти-индивидуализмъ. Искренность его — громадна, прямолинейность — безнощадна, а потому и правда и ложь въ его сужденіяхъ неприкрыты ничъмъ и разрастаются до колоссальныхъ размъровъ.

ярко характеризуеть его Достоевскій Удивительно устами какого-то анонимнаго своего собесъдника въ «Дневникъ Писателя» (1878 г., № 7-8): «авторъ Анны Карениной, несмотря на свой огромный художественный талантъ, есть одинъ изъ тъхъ русскихъ умовъ, которые видять ясно лишь то, что стоить прамо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ зту точку. Повернуть же шею направо или налѣво, чтобы разглядѣть и то, что стоитъ въ сторонъ, они, очевидно, не имъютъ способности: имъ нужно для того повернуться всёмъ тёломъ, всёмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорять совершенно противоположное, такъ какъ, во всякомъ случав, они всегда строго искранни»... Если къ этому прибавить еще то, что эти «повороты всты корпусомъ» могли случаться съ Толстымъ съ удивительной легкостью, что, повернувъ сегодня къ одной точкъ, завтра онъ обращался къ противоположной, то общая характеристика Толстого будеть въ общихъ чертахъ върна. Это не есть обвинение Толстого въ поверхностности взглядовъ, въ легкости сужденій; наоборотъ, каждую точку зрънія Толстой исчерпываль до конца, вахватываль глубоко-и тёмъ крупнёе была его ошибка, если онъ брался за работу «не съ того конца». Однако, въ этомъ постоянномъ исканіи-не слабость, но сила Льва Толстого; сильный человекъ, онъ всю жизнь искалъ истину-и въ этомъ исканіи сказывался могучій, глубоко дтяственный духъ. Но, къ несчастью, въ 80-хъ годахъ ему показалось, что, наконець, онъ нашелъ абсолютную истину-и онъ сталъ пророкомъ, проповъдникомъ ея. Его требованія этизаціи жизни-цівным и имівоть громадное значеніс; его соціальная программа — напвна. И вдівсь въчное противоръче, и здъсь мертвая зыбь индивидуализма и анти-индивидуализма...

Резюмирую. Сильная и яркая индивидуальность, мощно посоряющая себъ все окружающее; острый, аналитическій умъ, разрушающій всѣ путы, связывающія личность,—и въ то же времи полное безсиліе синтезировать свои взгляды, дать освобожденной личности реальную точку опоры. Отсюда—полная безпорядочность, безсистемность, противорѣчивость взглядовъ на личность, безпонощная путаница индивидуализма и анти-индивидуализма, вы-

яснить которую мы старались выше. И все это — при несомнѣнномъ, постоянномъ признаніи самоцѣнности и самоцѣльности человѣческой личности, при яркомъ и рельефномъ этическомъ пидивидуализмѣ. Въ этомъ отношеніи Толстой является ближайшимъ союзникомъ и сдиномышленникомъ Достоевскаго, этическій индивидуализмъ котораго достигъ силы, глубины и красоты, небывалой дотолѣ во всей вѣковой исторіи русской мысли 1).

XI.

Толстой пришелъ къ ясно-сознанному этическому индивидуализму въ началъ восьмидесятыхъ годовъ; Достоевскій умерь въ 1881 г. ІІ, однако, въ этическомъ индивидуализмъ не Толстому принадлежитъ послъднее, наиболъе серьезное и глубокое слово: его гораздо раньше сказалъ Достоевскій, и сказаль гораздо глубже. Эгическій индивидуализмъ Достоевскаго бросался въ глаза еще въ самомъ началъ его дъятельности, быль очевидень до такой степени, что его отмътилъ даже Добролюбовь, совершенно не понявшій Достоевскаго и посвятившій ему одну изъ самыхъ слабыхъ своихъ статей («Забытые люди», 1861 г.). «Каждый человъкъ долженъ быть человъкомъ и относиться къ другимъ, какъ человъкъ къ человъку, — вотъ пдеалъ, сложившійся въ душт автора помимо всякихъ условныхъ и парпіальныхъ воззріній, повидимому, даже помимо его собственной воли и сознанія, какъ то а ргіогі, какъ что-то составляющее часть его собственной натуры», -- говорить Добролюбовъ про Достоевскаго. И къ этимъ словамъ трудно прибавить что-нибудь новое: теперь, когда мы знаемъ Достоевскаго не только какъ автора «Униженныхъ и Оскорбленныхъ», но и какъ творца «Преступленія и Наказанія», «Бъсовъ», «Идіота», его характеристика Добролюбовымъ остается въ полной силъ, усугубляется по своему вначенію. Да, действительно, «человекъ-самоцель» является заветнайшей иыслыо Достоевскаго, п, быть можеть, во всемірной лутератур'є ніть произведеній, такъ п настолько захватывающе, глубоко и проникновенно убъждающихъ

¹⁾ Подробиве обо всемь этомь-въ моей книгв «Левь Толстой».

каждаго въ правотъ этой мысли, какъ «Преступленіе и Наказаніе» или «Братья Карамазовы» Достоевскаго..

«Рыжій уродъ», князь Валковскій (въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ», 1861 г.) утверждаетъ, что все на свътъ-вздоръ. Что же не вздоръ?--спрашиваетъ его собесъдникъ, и въ отвъть на это слышитъ слъдующее исповъдание въры: «не вздоръ-это личность, это я самъ. Все для меня и весь міръ для меня созданъ... Въ основанін всёхъ челов'єческихъ доброд'єтелей лежить глубочайтій эгоизмъ. И чёмъ доброд'єтельнее дёло, темъ болъе тутъ эгоизма. Люби самого себя — вотъ одно правило, которое я признаю» (IV, 260). Вотъ типичная quasi-индивидуалистическая философія, съ которой не уставаль бороться Достоевскій. Личность - это все, говорить индивидуалисть; личность - это я, прибавляють къ этому князья Валковскіе. Челов'єкъ есть ціль - вэть заповёдь индивидуализма; я есыь цёль - воть единственное правило, которое признаютъ князья Валковскіе. Мы уже достаточно подробно останавливались на понятіи эгопзма, чтобы возвращаться къ этому вопросу; достаточно указать, что такой quasi-индивидуализмъ пифлъ злейшаго врага въ Достоевскомъ: вспомнимъ, что именно это «личное начало» Достоевскій считаль причиной всёхь золь, царящихъ на Западъ, что это начало «самоопредъленія въ своемъ собственномъ Я» Достоевскій противоноставляль растворению личности въ братствъ, для чего, однако, «именно надо стать личностью».

И вовсе нъть необходимости быть «рыжимь уродомь», подобно князю Валковскому, чтобы придерживаться такихь крайнихь взглядовь на свою личность, какъ на цъль, а на человъка вообще—какъ на средство. Въ «Подросткъ» (1875 г.) такова именно философія напвно комичнаго подростка, Аркадія Макаровича; Я— цъль, такова его основная мысль. «Личная свобода то есть, моя, собственная-съ, на первомъ планъ, а дальше знать не хочу»,—торопливо заявляеть онъ при первомъ же знакомствъ. «Да зачъмъ я лепремънно долженъ любить моего ближняго, или ваше тамъ будущее человъчество, которое я никогда не увижу, которое обо мнъ знать не будетъ и которое, въ свою очередь, истлъетъ безъ всякаго слъда и восноми-

панія!» «...Я одинъ только разъ на свётё живу!—восклицаеть онъ далёе: — позвольте мнё самому знать мою выгоду: оно веселёе. Что мнё за дёло о томъ, что будеть черезъ тысячу лёть съ этимъ вашимъ человёчествомъ, если мнё за это, по вашему кодексу (онъ говорить о соціализмё)—ни любви, ни будущей жизни, ни признанія за мной подвига? Нёть съ, если такъ, то я самымъ преневёжливымъ образомъ буду жить для себя, а тамъ хоть бы всё провалились!» (VIII, 56—58; ср. Х, 349—352). Таковъ этотъ крайній этическій анти-индивидуализмъ, признающій все средствомъ для достиженія единой цёли—Я. Познакомимся теперь съ обратной стороной медали, съ этическимъ ультра индивидуализмсмъ, для чего обратимся къ типу Кириллова въ «Бёсахъ» (1870).

Кирилловъ, одинъ изъ самыхъ удивительныхъ и глубокихъ литературныхъ типовъ, какіе только намъ извёстны, въ настоящую минуту пнтересуеть насъ только какъ выразитель опредъленнаго ръшенія проблемы индивидуализма. Это-однодумъ, котораго Богь «всю жизнь мучилъ». и который, наконецъ, самъ хочетъ сдёлаться Богомъ Онъ счастливъ въ узкихъ границахъ своей глубокой мысли; онъ любить жизнь, онъ любить все на свътъ, его веселить каждый «листь зеленый, яркій, съ жилками», онъ молится всему-«видите, паукъ ползетъ по стънъ, я смотрю и благодаренъ ему за то, что ползетъ». Но въ то же самое время онъ сознаетъ, что «жизнь есть боль, жизнь есть страхъ, и человткъ несчастенъ»; онъ живетъ желаніемъ побъдить этотъ страхъ, эту боль и тъмъ очистить дорогу высшимъ формамъ жизни: «теперь человъкъ еще не тотъ человъкъ. Будетъ невый человъкъ, счастиивый и гордый. Кому будеть все равно -жить или не жить, тоть будеть новый человъкъ... Онъ придеть и имя ему. будеть челов вкобогь. -- Богочелов вкъ? (переспраниваетъ Кириллова Ставрогинъ) - Человъкобогъ, въ этомъ разница» (VII, 112-13, 228-230). Кому будетъ все равножить или не жить, тотъ будеть новый человъкъ; нетрудно узнать въ этихъ словахъ Кириллова видоизмъненную мысль Достоевскаго, что добровольное самоуничтоженіе, самопожертвованіе личности есть въ то же время вемичайтее ее превознесеніе; когда такое самоуничтоженіе

станеть обычнымь вы человъчествъ, тогда создадутся и новыя, лучшія формы жизни: «будеть новый человъкъ, счастливый и гордый... Онъ придеть и пия ему будеть человъкобогь»...

Но Кирилловъ идетъ по пути этическаго индивидуализма гораздо дальше самого Достоевскаго. Этическій индивидуализмъ, признающій человѣка самоцѣлью, обыкновенно отстанваетъ этическую самостоятельность личности оть соціальной группы, отъ класса, отъ общества, отъ государства. Кирилловъ идетъ дальше, отстаивая понятіе челов'єка-самоц'єлп — отъ Бога... «Меня Богъ всю жизнь мучиль», -- говорить онъ самъ про себя замъчательно сильно и мътко: дъйствительно, вся трагедія Кирилловавъ его единоборствъ съ пдеей Бога за этическую самостоятельность человъческой личности. Въ послъднія минуты своей жизни онъ ярче, чёмъ когда бы то ни было, высказываетъ эти свои мучительные выводы, приводящіе его къ самоубійству. «Богъ необходимъ, а потому долженъ быть. -- Но я знаю, что его нътъ и не можеть быть. --Если нътъ Бога, то я-Богъ.-Если Богъ есть, то вся воля-Его, и изъ Его воли я не могу. Если нътъ, то вся воля моя, и я обязанъ заявить своеволіе». Вотъ главные этапные пункты его идей; въ нихъ-весь центръ тяжести. Идея Бога всю жизнь давила, всю жизнь мучила Кирилнова; придя къ своеобразному атеизму, онъ торжествуетъ побъду не только за себя, но и за все человъчество. Если Бого есть, то вся воля-Его, и изъ Его воли я не могу: разъ это такъ, то какъ же не торжествовать Кириллову свою побъду въ тяжеломъ единоборствъ? Опъ завоевалъ волю для каждой личности, ибо личность есть прежде всего воля, желаніе. ІІ свою побъду онъ долженъ провозгласить на весь міръ, чтобы люди, наконецъ, поняли все и сбросили съ себя оковы религозно-этическаго рабства: «я обязанъ невъріе заявить... Для меня нъть выше идеи-что Бога нътъ. За меня человъческая исторія. Человѣкъ только и дѣлалъ, что выдумывалъ Бога, чтобы жить, не убивая себя, въ этомъ-вся всемірная исторія до сихъ поръ. Я одинъ во всемірной исторіи не захотъль первый разъ выдумывать Бога. Пусть узнаютъ разъ навсегда».

Человікь есть ціль и не можеть быть средствомь для другого человъка, или комплекса ихъ, или даже Бога-такъ сказалъ Кантъ еще за сто лътъ до Кириллова; Кирилловъ обратилъ все свое внимание только на это последнее взаимоотношение: человекъ - Богъ. Онъ глубоко понялъ то положение, что быть средствоми и бить подъ чьей-либо волей-вполны тождественныя понятія; коть почему своеволіе — главный пункть символа въры Кириллова: его «своеволіе» есть выраженіе твердой ръшимости не быть средствомъ ви для кого, даже для Бога. «Я хочу заявить своеволіе. Пусть одинь, но сдълаю:. И Кирилловъ ищетъ самый полный, послъдній пункть своеволія; найти его нетрудно: «я обязань себя застрёлить, потому что самый полный пункть моего своеволія--это убять себя самому». Это самоубійство будеть полнымъ освобождениемъ человъка и человъчества, откровеніемъ новой, безм'єрной свободы, уничтоженіемъ навсегда страха и трепета, этихъ проклятій, сопровождающихъ признаніе человтка средствомъ. Достаточно одному человъку убить себя для своеволія, чтобы освободить и спасти отъ подчиненія чужой воль — воль Бога вствъ людей. Все это высказываетъ Кирилловъ въ своемъ последнемъ изступленномъ монологъ: «я убыю себя самъ непремънно, чтобы начать и доказать. Я еще только богъ поневолъ и я несчастенъ, ибо обязанъ заявить своеволіе. Вев несчастны, потому что всв боятся заявлять своеволіе. Человъкъ потому и быль до сихъ поръ такъ несчастенъ и бъденъ, что боялся заявить самый главный пунктъ своеволія, п своевольничаль съ краю, какъ школьникъ. Я ужасно несчастенъ, ибо ужасно боюсь. Страхъ есть проклятіе челов'яка... Но я заявляю своеволіе, я обязанъ увъровать, что не върую. Я начну, и кончу, и дверь отворю. И спасу... Я три года искаль аттрибуть божества моего и нашелъ: аттрибутъ божества моего-Своеволіе! Это все, чёмъ я могу въ главномъ пунктъ показать непокорность и повую, страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою» (VII, 594-597).

Кирилловъ пошелъ дальше Достоевскаго въ своемъ стремленін этически освободить человтка, и за это Достоевскій казнить его безуміемъ и картиной безобразной смерти. Безграничная свобода недоступна человъку, онъ не можеть ея вмъстить - такова мысль Достоевскаго, и притомъ одна изъ его основныхъ и завътнъйшихъ мыслей; мы увидимъ, какъ впоследстви онъ отнесся къ этой же мысли въ «Великомъ Инквизиторъ». Кирилловъ деходитъ до крайнихъ предъловъ ультра-индивидуализма, за что и несеть отъ Достоевского заслуженное наказаніе... Дъйствительно, если перевести вопросъ на обычные наши термины, то что значать слова Кириллова о томъ, что «если Богъ есть, то вся воля Его..., если нътъ, то вся воля моя»? Вся воля Его-вся воля моя: это именно тъ крайнія границы, въ которыхъ уже издавна быется человъческая мысль въ безпрерывномъ колебаніи отъ фатализма къ пидетерминизму. И нътъ надобности сводить непремънно этотъ вопросъ на религіозную почву: Толстой въ «Войнъ и Миръ» отнюдь не стоялъ на этой почвъ, однако, категорически утверждать, что ввен воля Его»... Конечно, здъсь и «Его» и «воля» понимаются не въ прямомъ смыслъ, но не въ этомъ, въдь, и дъло: мы говоримъ пока только о противоноставленій формулы «вся воля моя» формуль діаметра: вно противоположно»: въ эту-то вторую формулу одинаково войдеть и религіозный изувъръ, и авторъ «Войны и Мира», и правовърный мусульманинъ, и ортодоксальный марксистъ. Кирилловъ стоить на почев исилючительно религозной и колеблется между этими же двумя решеніями: анти-индивидуалистиское и фаталистическое признаніе, что «вся воля-Его» для него невозможно; ультра-индивидуалистическое утвержденіе «своеволія» онъ (какъ и всякій человъкъ, по Достоевскому,) не можетъ вибстить. Онъ не желаетъ признать совместимости религіозной идеи Бога съ этической самостоятельностью человъка, не умъетъ согласовать понятія воли Бога со свободной волей челов'єка; вадача эта сама по себъ совершенно тождественна съ проблемой необходимости и свободы на строго философской ночвъ. Кирилловъ гибнетъ потому, что не умъетъ найти средняго рұшенія - синтезировать свободу и необходимость; онъ приходить къ этическому ультра-индивидуализму и не выносить открытой передъ нимъ безграничной «страш-ной» свободы.

Князь Валковскій и Кирилловъ—воть два полюса этическаго индивидуализма, какъ ни странно ставить рядомъ два этихъ имени; какъ видимъ теперь, Д стоевскій одинаково отрицательно относится и къ анти-индивидуалистическому признанію человъка только средствомъ, и къ ультра-индивидуалистическому «своеволію». И если мы отвлечемся отъ вибшнихъ формъ, забулемъ внечатлънія отъ симиатичнаго облика личности К раллова и отвратительнаго образа князя Валковскаго, то развъ ужъ такъ далеки будутъ въ основъ «своеволіе»—и того, и другого? Да и въ метафизикъ признаніе абсолютной необходимости или абсолютной свободы не приводить ли къ одинаково уничтожающимъ личность результатамъ?

XII:

Гдъ же спасительная середина, по разумънію Достоевскаго? Какой этическій индивидуализмъ онъ считаетъ пріемлемымъ, единственно возможнымъ? Напоолъе полные отвъты Достоевскій даль въ трехъ произведеніяхъ разныхъ времень своей дъятельности-въ Запискахъ изъ подполья» (1864 г.), «Преступленін и Паказаніп» (1866 г.) и «Братьяхъ Карамазовыхъ» (1878 г.). Кром'я того, въ «Пдіотт» (1868 г.) онъ пытался разрёштть этотъ вопросъ не «логикой мыслей», а «логикой образовъ»; въ лицъ князя Мышкина мы должны видъть, по замыслу Достоевскаго, цъльнаго, гармоничнаго человъка и, такъ сказать, глубоко интуптивную натуру. Князю Мышкину, этому бълному «пліоту», нъть надобности такъ или иначе ръшать мучительную проблему индивидуализма: она для него ръшена, если и не въ области мысли и слова, то вь сферт чувства. Везкопечно чуткій и тонкій, онъ вибрируетъ на малъйшее колебание души своего ближняго; всегда устраняя на задній планъ свое Я, онъ, тъмъ не менте, «личность» въ высокой степени, а потому въ немъ есть что-то настолько чарующее, настолько близкое каждому, что невольно онъ всегда и вездъ стоитъ передъ

читателемъ на первомъ планъ. Въ самомъ ваглавіи романа сказывается, такимъ образомъ, сарказмъ автора надъ читателями, надъ толной, способной везводить въ идеалъ ненормальное и видъть ненормальное во всемъ приближающемся къ идеалу. Однако, типъ князя Мышкина совершенно не удался Достоевскому (исключая первой части ремана), такъ какъ сложные и глубокіе вопросы, поставленные въ этомъ романъ Достоевскимъ, чъмъ дальше, тъмъ больше заслоняли собою симпатичную фигуру «бъднаго рыцаря», захваченнаго роковой волной событій и подъ конецъ обратившагося въ настоящаго идіота. Поэтому, оставляя логику образовъ въ сторонъ, обратимся къ той логикъ мыслей, которой ръщается проблема игдивидуализма въ вышеуказанныхъ трехъ произведеніяхъ Достоевскаго.

Въ «Запискахъ изъ подполья» Достоевскій борется съ тъмъ, что ему кажется этическимъ и соціологическимъ анти-индивидуализмомъ; основной темой «Преступленія и Наказанія» является провозглашеніе этическаго индивидуализма; наконецъ, въ «Братьяхъ Карамазовыхт» соединелы и углублены объ эти точки зрънія—вотъ предварительное краткое поясненіе взаимоотношенія идей этихъ трехъ ро-

мановъ.

Озлобленный неудачникъ, тусклый и ничтожный, неизвъстный авторъ «Записокъ пзъ подполья» оказывается въ душъ, въ теоріи вполнъ опредъленно пидивидуалистомъ. Онъ жаждеть жизни, жизни полной и широкой; раціонализмъ кажется ему узостью, душить его, не даеть развернуться и жить; примать воли надъ разумомъ онъ выдвигаеть впередъ на четверть бъка ранъе научной исихологической школы и, пожалуй, въ согласіи съ незнакомымъ ему Шопенгауеромъ. (Примать этотъ-одна изъ наиболъе постоянныхъ идей Достоевскаго). «Разсудокъ, господа, есть вещь хорошая, это безспорно, - заязляеть онъ, -- но разсудокъ есть только разсудокъ и удселетворлеть только разсудочной способности человтка, а коттыве есть проявление всей жизни, то есть, всей человъческой жизни и съ разсудкомъ и со встми почесываніями. И хоть жизпь наша, въ этомъ проявленін, выходить зачастую дрявие, но все-таки жизнь, а не одно только извлеченіе квадратнаго корня. Вёдь, я, напримёръ, совершенно сстественно хочу жить для того, чтобъ удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей разсудочной способности, то есть, какой-нибудь одной двадцатой доли всей моей способности жить»... Этотъ своеобразный «исихологическій индивидуализмъ» превраща этся далёе въ яркій и рельефный индивидуализмъ этическій, причемъ Достоевскій даетъ намъ такую блестящую, увичтожающую критнку формальной, раціоналистической этики, которая дёлаетъ первую часть «Записокъ изъ подиолья» безсмертнымъ, міровымъ произведеніемъ. (Мы будемъ говорить въ дальнъйшемъ не о неизвъстномъ авторъ «Записокъ», а о Достоевскомъ, такъ какъ въ первой части повъсти за первымъ слишкомъ явно стоитъ второй).

Формальная, раціоналистическая этика, доведенная до своихъ крайнихъ логическихъ предбловъ является типичнымъ мізшанствомъ, нуднымъ и тоскливымъ. Правда, и Кантъ былъ въ этикъ формалистомъ и раціоналистомъ, но никогда не доходилъ онъ до тъхъ границъ, за которыя свободно переступила позднъйшая раціоналистическая этика, дошедшая до крайнихъ предбловъ въ утилитаризмъ. Лейбницъ втрилъ въ возможность созданія логической машины; раціоналистическая этика хотела сделать изъ человека машину этическую; она пыталась создать этическій сводъ ваконовъ, для практическихъ справокъ во всякомъ данномъ случав. При мальйшемь сомньнін — какъ мнь поступить въ томъ или пномъ положени? - стоитъ только порыться въ этемъ сводъ законовъ и узнать, что на основании или принципа пользы, или категорического императива за № 000, этическій поступомъ въ этомъ случав долженъ быть такой-то и такой-то. Какъ извъстно, безпощадная борьба съ такой формальной, раціоналистической, міщанской этикой является одной изъ главныхъ заслугъ Нитцше, центромъ, къ которому можно свести всъ разрозненные злементы его философіи; Достоевскій опередиль Нитцше въ этомъ отношении и по справедливости можетъ считаться однимъ изъ предшественниковъ нъмецкаго философа. Формальная этика въ своемъ разработанномъ и законченномъ видъ кажется ему насмъшкой надъ живой, мыслящей и чувствующей челов вческой личностью.

Хорошее будеть время, - пронизируеть онъ, - когда будуть выведены и установлены всъ этическіе законы: тогда будеть весьма легко и пріятно жить на свътъ. «Всъ поступки человъческіе, само собою, будуть расчислены тогда по этимъ законамъ, математически, въ родъ таблицы логариемовъ, до 108.000, и занесены въ календарь; или, еще лучше того, появятся въкоторыя благонамъренныя изданія, въ род' теперешнихъ энциклопедическихъ лексиконовъ, въ которыхъ все будетъ такъ точно исчислено и обозначено, что на свътъ уже не будетъ болъе ни поступковъ, ни приключеній». Тогда самъ человъкъ превратится въ этическую машину, станетъ чёмъ-то въ родъ «фортеніанной клавиши» или «органнаго штифтика»; тогда... «ну, однимъ словомъ, тогда прилетитъ птица Каганъ» и все человтчество достигнетъ незыблемаго, навъки нерушимаго, полнаго, пдеальнаго счастья... Вся эта увлекательная и заманчивая картина грядущаго блаженства осуществима въ томъ случат, замъчаетъ Достоевскій, если человъческая воля, человъческое хотъпье, человъческая свобода будеть разложена на элементы необходимости. Но допустимъ, что это произойлетъ, что наука найдетъ «настоящую математическую формулу» нашей воли, что воля эта будеть «расчислена по бумажкъ», что разумъ окончательно займеть мъсто воли (чесли хотънье стакнется когда-нибудь совершенно съ разсудкомъ, такъ, въдь, ужъ мы будемъ тогда разсуждать, а не хотть ...); допустимъ на минуту все это: тогда человъкъ сейчасъ же перестанетъ и хотъть, замъчаеть Достоевскій. «Ну, что за охота хотъть по табличкъ? Мало того: тотчасъ же обратится онъ изъ человъка въ органный штифтикъ, или въ родъ того; потому что, что же такое человькъ безъ желавій, безъ воли, и безъ хотвній, какъ не штифтикъ въ органномъ валь?: (Ш, ч. П, 89-92).

Воть ръзкій этическій анти-индивидуализмъ, діаметрально-противоположный крайней педцвидуалистической философіи Кириллова. Тоть погибъ оть чрезмърной свободы, здёсь же человъчеству уготована гибель оть безграничной необходимости. «Въдь, если мнъ, напримъръ, когда-нибудь расчислятъ и докажутъ, что если я показалъ такому-то кукишъ, такъ именно потому, что не могъ

не показать, и что непремънно такимъ то пальцемъ долженъ былъ его показать, такъ что же тогда во мнъ свободнаго-то остается?...» А. между прочимъ, только въ свободъ вся цъль, весь смыслъ человъческой жизни: «человъку надо одного только самостоятельнаго хотънія, чего бы вта самостоятельность ни стоила и къ чему бы ни привела»... Самостоятельность хотёнья для человека—самое ценное изъ всего существующаго въ міре, «потому, что, во всякомъ случат, сохраняетъ намъ самое главное и самое дорогое, т. е., нашу личность и нашу индивидуальность». И это стремленіе сохранить свою свободную личность настолько велико въ человъкъ, что онъ не промъняетъ его на самыя очевидныя выгоды, размъренныя математически и очевидныя, какъ дважды два четыре. Въдь, это «дважды два четыре есть ужъ не жизнь, господа, а начало смерти», нбо есть мертвая раціональная формула, между тъмъ, какъ безъ прраціональнаго человъкъ самъ превращается въ расчисленную таблицу логариемовъ (III, ч. II, 91--93, 97). Съ этой ненависти къ раціональному начинается борьба Достоевскаго съ ненавистнымъ ему соціологическимъ анти-индивидуализмомъ, олицетворнемомъ въ «Хрустальномъ дворцъ».

XIII.

Здёсь намъ приходится коснуться отношенія Достоевскаго къ соціализму, о чемъ подробнёе рёчь будеть
ниже. Нётъ сомнёнія, что вся первая часть «Записокъ
пзъ подполья» направлена по адресу только-что вышедшаго тогда романа Чернышевскаго «Что дёлать? съ его
проповёдью «фурьеризма». Къ фурьеризму и прочимъ
видамъ соціализма Достоевскій (послё возвращенія съ
каторги) питалъ непримиримую ненависть; онъ отождествлялъ соціализмъ съ полнымъ порабощеніемъ личности,
атрофированіемъ пидпвидуальности. Въ «Бѣсахъ» онъ
пытался иллюстрировать свою мысль тиномъ Шигалева,
этого представителя самаго крайняго соціализма, запутавшагося въ собственныхъ данныхъ, и отъ безграничной
свободы ваключавшаго къ безграничному деспотизму.

Содержаніе этой шигалевщины сл'єдующее: человычество дёлится на двё неравныя части, причемъ одна десятая доля получаеть свободу личности и безграничную власть, остальныя же девять десятыхъ теряютъ личность, обращаются въ стадо и живутъ въ покорномъ, рабскомъ, состоянін въ счастій безграничнаго повиновенія (VII, 391; развитіе этой мысли мы увидимъ въ «Великомъ Инквивиторъ»). «Каждый принадлежить всъмъ, а всъ-каждому. Всъ рабы и въ рабствъ равны. Въ крайнихъ случаяхъ клевета и убійство, а, главное, равенство. Первымъ дъломъ понижается уровень образованія, наукъ и талантовъ. Высокій уровень наукъ и талантовъ доступенъ только высшимъ способностямъ, -- не надо высшихъ способностей! Высшія способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшія способности не могуть не быть деспотами и всегда развращали болбе, чемъ приносили пользы; ихъ изгоняють или казнять. Цицерону отръзывается языкъ, Копернику выкалывають глаза, Шекспиръ побивается камнями--воть шигалевщина!...» (VII, 404-405).

И въ такомъ отвратительномъ соціальномъ антииндивидуализмъ Достоевскій видить главную суть соціализма. Ясно отсюда, что о реальномъ сеціализмъ Достоевскій имъль весьма смутное понятіе, въ родѣ того, какимъ обладалъ милъйшій Коля Красоткинъ: «это коли всь равны, у всьхъ одно общее мньніе, нъть браковъ, а религія и всъ законы какъ кому угодно, ну и тамъ все остальное» («Братья Карамазовы», XII, 623). Сражаясь съ шигалевщиной, съ крайними теченіями коллективизма, Достоевскій поб'єдоносно воеваль съ соломенными чучелами, изготовленными предварительно имъ же самимъ; такъ очень нетрудно одерживать побъды. Гораздо труднъе было бы критически разобраться въ индивидуалистическихъ и анти-индивидуалистическихъ концепціяхъ реальнаго соціализма. Въ высшей степени наивно было бы, однако, объяснять отрицательное отношение Достоевского къ соціализму исключительно его малой осведомленностью... Мы увидимъ, что центръ тяжести лежитъ глубже и что вражда Достоевскаго къ соціальстическимъ концепціямъ есть непримиримая вражда анархизма съ соціализмомъ. Но объ этомъ ржчь впереди; теперь же, во всякомъ случат, несомнънно одно: Достоевскій неустанно боролся съ тёмъ, что ему казалось крайнимъ соціологическимъ анти-индивидуализмомъ: эту борьбу можно прослёдить сначала по «Запискамъ изъ подполья», затёмъ по «Бёсамъ» и, наконецъ, по «Великому Инквизитору» изъ «Братьевъ Карамазовыхъ». О послёднемъ рёчь впереди; теперь же возвращаемся къ «Запискамъ изъ подполья».

«Хрустальный дворець» -- это тоть самый фаланстерь, съ идеализаціей котораго Достоевскій встрытился въ «Что дълать?». Достоевскій пронизируеть надъ тымь блаженнымъ, грядущимъ временемъ, когда прилетитъ птица Каганъ и когда выстроится хрустальный дворецъ; это будеть время, когда разумъ окончательно возьметь верхъ надъ волей, когда человъческие поступки будутъ расчислены по логариомическимъ таблицамъ, когда человъчество пойметь свои нормальные натересы и будеть строго логично располагать по нимъ свои тъ или пные поступки. Въ эту утилитаристическую теорію мотивировки поступковъ выгодами Достоевскій не върптъ совершенно: «...дерзко объявляю, - заявляетъ онъ, - что всѣ эти прекрасныя системы, вст эти теоріи разъясненія человтчеству настоящихъ, нормальныхъ его интересовъ съ темъ, чтобы оно, необходимо стремясь достигнуть этихъ интересовъ, стало бы тотчасъ же добрымъ и благороднымъ, - покамъстъ, по моему мнѣнію, одна логистика! Да съ, логистика!...» Утилитаризмъ, доведенный до своихъ логическихъ предъловъ, неминуемо ведетъ, по мнѣнію Достоевскаго, къ отрицанію свободы воли, къ явному примату разума; къ такому же отрицанію свободы ведеть и «Хрустальный дворець», въ которомъ все будетъ такъ размърено, разграфлено, обосновано на обоюдной выгодъ.

И если даже «Хрустальный дворець» и впрямь когданибудь осуществится, то возмущенное чувство свободы человёка не позволить ему существовать долгое время: очень ужъ скучно будеть въ этой «чрезвычайно благоразумной» жизни, такъ скучно, что человёкъ, пожалуй, захочеть чего-нибудь весьма невыгоднаго и весьма неблагоразумнаго. «...Среди всеобщаго будущаго благоразумія возникаетъ какой-нибудь джентельменъ, съ неблагородной или, лучше сказать, ретроградной и насмёшливой физіономіей; упреть руки въ боки и скажеть намъ всвиъ: а что, господа, не столкнуть ли намъ все это благоразуміе съ одного раза, ногой, прахомъ, единственно съ тою цёлью, чтобъ всё эти логариемы отправились къ чорту и чтобъ намъ опять по своей глупой волъ пожить! Это бы еще ничего, - пронизируетъ дальше Достоевскій, но обидно то, что, въдь, непремънно послъдователей найдеть: такъ человъкъ устроенъ»... Обидно для строителей хрустальнаго дворца, но-къ общему счастью человъчества; пусть это принесеть людямъ невыгоду и страданіе, но «человъкъ пногда ужасно любить страданіе» (тоже одна изъ любимыхъ мыслей Достоевскаго), и охотно неренесеть его, чтобы снова завоевать себъ свободу хотенья, свободу пидивидуальности, чтобы подтвердить самому себъ, что «люди все еще люди, а не фортеніанныя клавиши... «Я върю въ то, я отвъчаю за это, -- горячо заканчиваетъ Достоевскій, -- потому, что, в'єдь, все д'єло то челов'єческое, кажется, и дъйствительно въ томъ только и состоить, чтобъ человъкъ поминутно доказывалъ себъ, что онъ человъкъ, а не штифтикъ!...» (III, ч. II, 87, 90, 97, 94-5).

Ни фаланстеръ Фурье, нп тъмъ паче идеалъ Чернышевскаго не являются, конечно, тъмъ «Хрустальнымъ дворцомъ», противъ котораго ополчается Достоевскій; поэтому «Записки изъ подполья» (ихъ первая часть), какъ отвътъ на теорін «Что дълать?» — совершенно не выдерживаетъ критики; но именно это несущественно и для насъ, п для Достоевскаго. Важно то, что Достоевскій вполнъ опредъленно выразилъ свое глубочайшее отвращеніе къ этическому анти-индивидуализму теоріи утилитаризма, велъ съ нимъ упорно и-надо признатьпобъдоносную борьбу; въ этомъ -- главное значение «Запиписокъ изъ подполья». Борьба съ этическимь анти-индивидуализмомъ есть въ то же время борьба за жизнь, борьба за красоту жизни; неудивительно поэтому, что Достоевскій кончаеть «Записки изъ подполья» призывомъ къ настоящей, «живой жизни» и отходной тусклому мъщанству, благоразумно живущему «по книжкъ». Съ горечью видить онъ, что это мъщанство заполонило собою жизнь... «Да взгляните пристальнее! — восклицаетъ онъ: въдь, мы даже не знаемъ, гдт и живсе-то живетъ теперь, н что оно такое, какъ называется? Оставьте насъ одникъ, безъ книжки, и мы тотчасъ запутаемся, нотеряемся,—не будемъ знать, куда примкнуть, чего придерживаться, что любить и что пенавидъть, что уважать и что презирать? Мы даже и человъками-то быть тяготимся,— человъками съ настоящимъ, собственнымъ тъломъ и кровью; стыдимся этого, за поворъ считаемъ и норовимъ быть какимито небывалыми общечеловъками» (ПГ, ч. П. 177—8).

Остановимся пока на этомъ, оставляя въ сторонъ цълый рядъ ценьихъ и глубошихъ мыслей изъ этого перваго замѣчательнаго произведенія Достоевскаго. «Записки изъ подполья» авличется демаркаціонной чертой въ литературной дългельности нашего великаго писателя: до 1864 года нередъ нами-талантливый писатель, стоящій въ первыхъ рядахъ современныхъ ему рузовить писателей; послъ 1864 года онъ - міровой теній, пикдымъ новымъ произведениемъ отпрывающий все повые и човые. широкіс, непзетстные горизонты. Недаромъ Низише такъ прешлочился передъ стояней геніальнаго тшория «Преступленія и Наказаді. и «Вратторь Карамазовыять». П пусть, эти произведенія стоять неизм'єрнию выше «Заппсокъ изъ подполья», которыя, въ сущности, не что иное, какъ и; ба пера сознавшаго съон силы титана; но именно впервые въ «Запискахъ изъ подполья» были ясно высказаны и твердо поставлены всв основныя, завътныя мисли Достоевскаго, развитно которыхъ онь посвятилъ всю свою остальную жизнь.

XIV.

«Записки изъ подполья» (1904 г.) являются непосредственным предисловіемъ къ «Преступленію и Наказанію» (1867 г.); въ нихъ мы видъли унорную борьбу Достоевскаго съ этическимъ анти-индивидуализмомъ, на почвѣ того, что Достоевскій называетъ «логистикой»; въ «Преступленіи и Наказаніи» провозглащается этическій педивидуализмъ путемъ логики фактовъ и образовъ, и Достоевскій сразу подходитъ здѣсь къ крайнимъ предѣламъ этическаго индивидуализма, продолжая попутно наносить удары «Хрустальному дворцу». Для послѣдней цѣли служитъ младс-

непъ Разумихинъ, устами котораго часто говоритъ самъ Достоевскій. Разумихинъ попрежнему громить соціализмъ ва его мъщанство, за его анти-индивидуалистическія тенденденцін: «полной безличности требують, - возмущается онъ, — и въ этомъ самый смакъ находятъ! Какъ бы только самимъ собой не быть, какъ бы всего менте на себя походить! -- Это-то у пихъ самымъ высочайнимъ прогрессомъ и считается»... «Натура не берется въ разсчеть, натура изгоняется, натуры не полагается! - восклицаеть онъ въ другой разъ по этому же поводу:- оттого такъ и не любять экивого процесса жизни: не надо экивой души! Живая душа жизни потребуеть, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тутъ хоть и мертвечинкой принахиваеть, изъ каучука сдълать можне; - зато не живая, зато безъ воли, зато рабская, не взбунтуется» (V, 198, 252-3). Знакомыя все вещи: мы ихъ слово въ слово уже слышали въ «Запискахъ изъ подполья»; даже на «Хрустальномъ дворцъ» Дестоевскій снова вымещаеть свою злобу, окрещивая такъ какой-то гнусный трактиришко на Сфиной площади... Намъ не для чего повторять, что и здъсь всъ эти громы въ соціализмъ быотъ мимо, выказывая только всю силу индивидуализма Достоевского. Но въ «Преступленіи и Наказаніи» это и не существенно, объ этомъ ржчь идеть только мимоходомъ; зато черезъ весь романъ проходить одна мысль, доказывается одно положение, на которое нужно обратить главное вниманіе.

Человькъ — щъль, а не средство: таково общее положеніе этическаго индивидуализма, составляющее ту ось, на которой вращаются вст помыслы, вст симпатіи, вст идеалы Достоевскаго. Это уже достаточно хорошо извтстно. Въ «Преступленіи и Наказаніи» мы имтемъ своеобразное, оригинальное, безконечно глубокое «доказательство отъ противнаго» этого же самаго основного принципа этическаго индивидуализма; въ этомъ—весь смыслъ романа, все его значеніе.

Въ чемъ состоитъ «преступленіе» Раскольникова? Этотъ вопросъ далеко не такъ простъ, какъ можетъ по-казаться съ перваго раза. Преступленіе его, преступленіе противъ духа, началось уже тогда, когда впервые пришла ему на умъ его теорія «героевъ и толпы»; убійство ста-

рухи-закладчицы есть только последній этапный пункть, последній действенный штрихъ, заключивщій собой всю теорію. Основная мысль Раскольникова, казалось бы, не такъ ужъ нова: разделение человечества на две неравныя группы, причемъ большей частью жертвуютъ ради блага меньшей части; эту мысль впоследствии разовьеть Шигалевъ въ «Бѣсахъ», предлагая дать безграничную свободу одной десятой части человъчества и безграничное право надъ остальными девятью десятыми; еще было бы лучшехотя, къ сожалѣнію, невыполнимо-взорвать на воздухъ девять десятыхъ человъчества ради блаженства одной десятой части... Но эта идея, одобряемая Шигалевымъ, есть лишь почти дословное повтореніе одной мысли Бълинскаго (которую Достоевскій не могь знать въ 1870 г.) въ его письмъ къ Боткину (отъ 28 іюня 1841 г.): «личность человъческая сдълалась пунктомъ, на которомъ я боюсь сойти съ ума. Я начинаю любить человъчество по маратовски: чтобы сдълать счастливою малъйшую часть его, я, кажется, огнемъ и мечемъ истребилъ бы остальную»... Интересное совпаденіе! Но не въ немъ теперь дъло. Идя еще дальше назадъ, мы найдемъ однородную идею даже у Фонвизина — о необходимости жертвовать одной частью людей для блага другой части, лишь бы «число жертвуемыхъ соразмърно было числу тъхъ, для благонолучія коихъ жертвуется» («Выборъ гувернера», д. III, явл. V).

Если бы въ этомъ заключалась и теорія героєвъ и толны Раскольникова, то въ ней не было бы ничего оригинальнаго, ничего новаго и заслуживающаго вниманія; но въ ней не въ этомъ вовсе дёло: Раскольниковъ идетъ глубже этого довольно поверхностнаго анти-индивидуализма. Онъ, дёйствительно, дёлитъ человёчество на «героєвъ» и «толиу», на властелиновъ и рабовъ, на сильныхъ и слабыхъ, на «имёющихъ право» и «дрожащую тварь», — и въ этомъ послёднемъ подраздёленіи, подчеркнутомъ самимъ Достоевскимъ, главный узелъ вопроса (V, 417 и др.). Тутъ вовсе нётъ рёчи о жертвё одной частью человъчества ради блага другой, тутъ вопросъ поставленъ гораздо глубже, гораздо страшнёе... Предполагается существованіе сильныхъ людей, «имёющихъ право» — право, конечно,

ie

10

не юридическое, а этическое, - преступать вст границы этическихъ правъ другихъ людей, толпы, «дрожащей твари». г... Люди, по закону природы, раздъляются ворбще на два разряда: на низшій (обыкновенныхъ), то есть, такъ скавать, на матеріаль, служащій единственно для зарожденія себъ подобныхъ, и собственно на людей, то есть, пиъющихъ даръ или талантъ сказать въ средъ своей новое слово... Первый разрядъ, то есть, матеріалъ, говоря вообще, люди по натуръ свеей консервативные, чивные, живутъ въ послушании и любять быть послушными... Второй разрядъ-всв преступають законь, разрушители или склоены къ тому, судя по способностямъ»... II это «преступленіе закона» является для пихъ не только правома, но даже и домома: если для своей идеи, споето новаго слова такому человъку надо перешагнуть черезъ кровь, то онъ внутри себя, по совтсти можеть дать себт такое разръшеніе... «Если бы Кеплеровы п Ньютоновы открытія, всябдетвіе какихъ-нибудь комбинацій, никовить образомъ не могли бы стать извъстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далъе человъкъ, мъшавнихъ бы этому открытию, или ставшихъ бы на пути, какъ препятствіе, то Ньютонъ натель бы право и даже быль бы обязань... устранить этихъ десять или сто человекъ, чтобы сделать известными свои отпритія всему человъчеству...» (V, 256, 257). Каждый нзъ такихъ людей можетъ сказать про себл: «ы-цёль» и межеть проявить крайнюю форму этпческаго анти-пидипидуализма-перешагнуть черезъ кровь. Въ такое положеніе Достоевскій ставить и Распольникова, каки представителя одного изъ желавшихъ «имъть право»...

Преступленіе Раскольникова состоить въ томъ, что онъ призналь человька средствомъ для немногихъ избранныхъ; его преступленіе въ томъ, что мъ этимъ избраннымъ онъ причислия себя, т. е., другими словами, призналь себя цълью; его преступленіе, наконець, въ томъ, что онъ перешагнуль черезъ кровь, достигнувъ этимъ послъдней ступени отрицанія человьческой личности и утвержденія своей. Если его теорія върна, то не имъль ли онъ права, дъйствительно, причислить себя къ числу лицъ, «имък плявь право»? Сама его теорія—развъ это не «по-

вое слово», новое и страшное, никъмъ не высказальне раньше? («У меня тогда одна мысль выдумалась, въ первый разъ въ жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумываль!» - говорить онъ Сонъ, и говорятъ несомнённую истину; V, 416). А убійство старушонки, не есть ли это проведение теоріи въ жизиь, реализація ея, придаціє ей плоти и крови? В'єдь, Раскольниковъ «не старушонку убиль, а принципъ убиль», это было только первымъ шагомъ къ выяснению самому же себъ петинности своей теоріи. II, между тъмъ, въ результать такой позорный, жалкій конецъ, превращеніе «пивющаго право» въ «дрожащую тварь»... Одно изъ двухъ: или разряда людей, «имфющихъ право», совершенно пътъ, или Раскольниковъ по ошибкъ зачислилъ себя въ этотъ разрядъ, будучи въ глубинъ души и характера ординарнъйшей дрожащей тварью; или теорія Раскольникова совершенно невърна, или ошибка только въ ен частномъ примъненіи...

Самъ Раскольниковъ упорно стоитъ на этой послъдней точкъ зрънія, съ нъкоторыми просвътами въ область дъйствительной истины. Послъ убійства старухи онъ созналь только, что не принадлежить къ числу лицъ, «пибющихъ право»... Въдь, онъ и старушонку убилъ, чтобы убъдиться вь своей принадлежности къ разряду «героевъ», которымъ все дозволено ради ихъ новаго слова. «Нойми меня, говорить онъ Сонт: -- можеть быть, тою же дорогой пдя, я уже никогда болбе не повторилъ бы убійства. Миб другое надо было узнать, другое толкало меня подъ руки; мнъ надо было узнать тогда, и поскоръй узнать, вошь ли я, какъ вет, или человъкъ? Смогу ли я переступить или не смогу? Осм'влюсь ли нагнуться и взять или нтть? Тварь ли я дрожащая или право имбю»... II онъ узналь это послъ убійства, которое совершиль «для себя, для себя одного»; «...я такая же точно вошь, какъ и всвя, — восклицаетъ онъ, не отказываясь отъ своей теоріи.

Теорія върна, произопіла только частичная опінбка въ ея примъненіи: онъ, Раскольниковъ, вообразилъ себя сильнымъ человъкомъ, въ то время какъ принадлежаль къ смиренному стаду дрожащихъ тварей. Это онъ повторяеть въ изступленіи, когда идеть «предавать» себя, это

же онъ повторяеть и на каторгъ. «...Я и перваго шага не выдержаль, потому что я-подлець! - восклицаеть онъ: -- вотъ въ чемъ все и дъло! И все-таки вашимъ взглядомъ не стану смотръть: если бы мнъ удалось, то меня бы увънчали, а теперь въ капканъ!... Никогда, никогда яснъе не сознавалъ я этого, какъ теперь, и болье чъмъ когда-нибудь не понимаю моего преступленія! Никогда, никогда не былъ я сильнъе и убъжденнъе, чъмъ теперы! ». На каторгъ онъ снова хватается за эту же мысль: «...тъ люди вынесли свои шаги, и потому они правы-думаетъ онъ про сильныхъ людей, сумъвшихъ перешагнуть черезь кровь:-а я не вынесъ, и, стало быть, я не имълъ права разръшать себъ этотъ шагъ» (V, 417, 516, 540). За все время переживаемой имъ душевной драмы Раскольниковъ только и дёлаетъ, что рѣшаетъ — и не можетъ рѣшить этотъ вопросъ. Если его теорія върна, то что же онъ самъ-то, -человъкъ, или вошь? «...Я-такая же точно вошь, какъ и всъ, -съ отчаяніемъ говорить онъ Сонв, а черезъ минуту мрачно замъчаетъ: «я, можетъ, еще на себя наклепалъ... можетъ, я еще человъкъ, а не вошь, и поторопился себя осудить. Я еще поборюсь...» (V, 419). И въ этой борьбъ съ самимъ собой -- вся трагедія Раскольникова, придающая главную цёну психологической сторон романа. Но не въ психологіи туть сила...

Достоевскій різнаеть вопрось наобороть: онь, конечно, видить центрь всего узла не вь ошибочномь приміненіи Раскольниковымь своей теоріи, а въ основномь тезисів этой теоріи, въ ен глубоко анти-индивидуалистической общей концепціи. Раскольнивовь для него есть своего рода гедистіо ад армити формулы «я—ціль, человінь—средство», или своего рода «доказательства оты противнаго» основного положенія всего міровоззрівнія Достоевскаго, основного положенія этическаго индивидуализма: «человінь—самоціль». Конечно, Достоевскій далень оты плоскаго, поридическаго толкованія глубокаго содержанія своего романа; конечно, смітно понимать діло такъ, будто «преступленіе» Раскольникова — убійство старушонки, а «наказаніе» его—восьмилітняя каторга: дескать, пролиль кровь, совершиль ділые юридически-наказуемое,

не вынесъ угрызеній совъсти, совершиль явку съ новинною и понесъ заслуженное наказаніе. Да едва ли такъ кто-нибудь и когда-нибудь понималь этотъ романь Достоевскаго, за исключеніемъ, пожалуй, Писарева, который ужъ слишкомъ просто и плоско взглянуль на тяжелую душевную драму Раскольникова (см. его крайне слабую статью «Ворьба за жизнь», 1867 г.).

Нътъ, тутъ вопросъ лежитъ глубже, тутъ основная проблема является не юридической и не испхологической, а чисто этической. «Наказаніе» Раскольникова — не въ каторгъ, а въ немъ самомъ; оно зародилось виъстъ съ его «преступленіемъ», еще когда впервые «это» пришло ему въ голову; оно сопровождало его всюду и всегда, хотя и не было «угрызеніемъ совъсти» за убійство: быть можеть, Раскольниковъ быль бы счастливъ, если бы вмъсто испытываемыхъ имъ мученій его могли посттить угрызенія совъсти:.. Его «наказаніе» непзитримо тяжелье и имъ Достоевскій казнить его за анти-этическое признаніе человъка средствомъ, за крайнюю точку этическаго анти-индивидуализма-пролитіе крови, это покушеніе на человъческую личность. Его страданіе, его наказаніеименно въ сознаніи своей ошибки: онъ ошибся, думая, что для него человъкъ-вошь. Пусть Раскольниковъ объясняетъ эту свою ошибку темъ, что онъ записался не въ тотъ разрядъ людей, пусть онъ думаеть, что «нивющіе право» смотръни бы на человъка, какъ на вошь: самъ-то онъ не смотритъ такъ на человека. «Я, ведь, только вошь убилъ, Соня, безполезную, гадкую, зловредную» — пытается онъ оправдать себя передъ Соней. — «Это человъкъ-то вошы!» (истерически вскрикиваетъ Соня). — «Да, выдь, и я знаю, что не вошь, — отвътиль онь, странно смотря на нее» (курсивъ нашъ).

И это онъ зналъ съ самаго начала. «Неужели ты думаешь, — говоритъ онъ потомъ Сонъ, — что я не зналъ,
напримъръ, хотя того, что если ужъ началъ я себя спрашивать и допрашивать: имъю право власть имътъ? —
то, стало быть, не имъю право власть имътъ. Или что
если задаю вопросъ: вошь ли человъкъ? — то, стало быть,
ужъ не вошь человъкъ для меня, а вошь для того, кому
этого и въ голову не заходитъ». Но вотъ онъ ношелъ и

убиль, «для себя убиль, для себя одного». Угрызеній совъсти у него нъть—Достоевскій казнить его сознаніемь ошибки. «Страдай, коль сознаеть ошибку, — говорить Раскольниковь про дрожащую тварь, записавшуюся въ разрядь «пмѣющихъ право»:—это и наказаніе ему, — опричь каторги». Но это страданіе и тяжельй каторги; по крайней мѣрѣ, Соня умоляеть Раскольникова предать себя, чтобы избавиться отъ страшной внутренней муки. «...Можеть, я еще человъкь, а не вошь, и поторопился себя осудить. Я еще поборюсь»—мрачно заявляеть Раскольниковь и на его губахъ «выдавливается» надменная усмѣшка. — «Этакую-то муку нести!—въ отчаяніи восклицаеть на это Соня: —да, вѣдь, цѣлую жизнь, цѣлую жизнь!»

(V, 414, 417, 261, 419).

Воть въ чемъ «наказаніе» Раскольникова, передъ которымъ и каторга кажется не страшной. Какъ бы тамъ чувствоваль себя послѣ убійства старушонки ростовщицы какой-нибудь Наполеонъ-для наст. теперь безразлично, если бы даже онъ, дъйствительно, придушилъ старушонку «безъ всякой задумчивости», то этотъ одинъ фактъ не доказаль бы его принадлежности къ категоріи людей, «имъющихъ право» и несущихъ міру новое слово... Одинъ изъ обитателей «Мертваго дома», описанный Достоевскимъ, совершенно спокойно, «безъ всякой задумчивости», совершиль целый рядь убійствъ, что не мешало ему быть именно человъкомъ толны, бездарностью и безличностью. (См. въ «Мертвомъ домъ» типъ, напр., Лучка). Дъло не въ Наполеонъ, а въ Раскольниковъ, не въ мертвой абстракцін, а въ живомъ человѣкѣ; этотъ живой человѣкъ принужденъ со злобой и негодованіемъ признать, что для него человъкъ-не вошь. Такимъ образомь, въ теоріи «героевъ и толпы» лежить преступление Раскольникова: въ ней же и его наказаніе...

XV.

Не можеть, кажется, быть двухъ мнѣній объ отношенін Достоевскаго къ теорін Раскольникова; все «Преступленіе и Наказаніе»—судъ падъ этой теоріей и осужденіс ея; и, однако, въ оцѣнкѣ смысла романа мнѣнія

сильно расходятся. Одно изъ нихъ мы не можемъ обойти молчаніемъ, такъ какъ оно ръзко противоръчить тому, что мы старались выяснить выше. Это мненіе (Д. Мережковскаго изъ его интереснаго двутомнаго изследованія «Л. Толстей и Достоевскій», 1900 г.), мивніе вполнъ оригинальное, гласить, что въ «Преступленіи и Наказанін» Достоевскій не видёлъ ни преступленія, ни наказанія, что, напротивъ, весь смыслъ романа состоить въ полной этической безнаказанности Раскольникова: онъ · убилъ старуху, слъдуя теорін, что «все позволено» выдающимся людямъ для достиженія ими ихъ пден; убилъи почувствоваль этическую пустоту... Онъ заглянуль въ бездонную глубину человъческой совъсти -- и увидълъ віяющую пустоту, увидёль полную свободу, не имінощую никакихъ границъ. Этой-то свободы онъ и не выдержалъ, не вывстиль (См. ор. cit., т. II, стр. 128 и сл.). Однимъ словомъ, согласно этому мнѣнію и объясненію, къ Раскольникову приложимо все то, что выше мы пмъли случай отнести къ типу Кириллева. Однако, въ этомъ объясненіи есть одинъ существенный недостатокъ: оно не подтверждается ни единой мыслыю, пи единой фразой Раскольникова; когда же авторъ этого объяснения пытается доказать, что въ глубний души такой смыслъ роману придавалъ и Достоевскій, то это оказывается уже покушениемъ съ негодными средствами, ибо слишкомъ легко доказать, что точка зрини самого Достоевскаго была діаметрально противоположна.

Страданіе есть путь искупленія—быть можеть, эта мысль очень не нова, очень іпаблонна, мизерна и т п., но ньть никакого сомивнія, что именно на этой точкі зрінія стояль Достоевскій: это была его любимійшая и завітнійшая идея, и вы ней не было ничего шаблоннаго и илоскаго. Еще вы предисловін къ «Преступленію и Наказанію», т. е., вы «Запискахы изы подполья», Достоевскій подробно анализируеть пдею страданія, вы которомы находить «единственную причину сознанія». ІІ здісь, и вы боліве раннихы своихы пропыведеніяхы оны постоянно логикой мыслей и исихологіей образовы стремится доказывать, что человіку необходимо страданіе, боліво того,—что человікь до страсти любить страданіе. (Обративь

вниманіе на эту одну сторону творчества Достоевскаго, Михайловскій назваль его «жестокимъ талантомъ»). Это «страданіе» не только лежить въ основъ творчества Достоевскаго, но п переносится имъ въ глубь народной жизни: «я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребнесть русскаго народа есть потребность страданія, всегдашняго и неутолимаго, везді и во всемъ»,-ппшеть Достоевскій въ своемъ «Дневникъ Писателя» (въ 1873 г.). Въ этомъ страданіи — безконечное, ядовитое наслажденіе, въ этомъ мучительномъ наслажденіи часто тантся преступленіе, но въ этомъ же страданіи и очищеніе, и искупленіе-именно такова основная мысль Достоевскаго: вспомнимъ разсказанный имъ эпизодъ о споръ: «кто кого дервостиве сдвлаеть? Вызвавшійся сдвлать «дерзостнъе всъхъ» изпемогалъ отъ ужаса, испытывая въ то же время «адское наслаждение собственной гибелью» — такъ себт представляеть все дъло Достоевскій; туть въ самомъ преступленіи — страданіе... Но въ страданін же и пекупленіе: недаромъ этотъ же преступникъ предъ собственной сов'єстью впосл'єдствіи «самъ за страданіемъ приползъ» (ІХ, 204-213).

Да, несомивнию, что, по Достоевскому, страдание есть путь искупленія, несомивнно, что именно онъ говорилъ устами Дуни Раскольникову: «развъ ты, идучи на страданіе, не смываешь уже вполовину свое преступленіе!». Несомнънно, что пменно его мысль высказываеть Соня: «страданіе надо принять и пскупить себя имъ» (V, 418, 515 п др.). И какъ могъ Достоевскій, въровавшій въ то, что страданія Богочеловіка искупили преступленія міра, не стоять на точкъ зрънія искупительности страданій? Впрочемъ, у насъ есть боле въскія доказательства нашего взгляда, чёмъ все предыдущее. Не будемь говорить о томъ, что въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» Достоевскій повторяеть свою любимую пдею и устами Мити, и устами Алеши; Митя колеблется въ отвъть на предложение бъжать изъ каторги: «а совъсть-то? — мучительно раздумываетъ онъ, — отъ страдація, вёдь, убіжаль! Было указаніе — отвергъ указаніе, быль путь очищенія—поворотиль налѣво кругомъ». Алеша также высказываеть мысль, что «преступившій» не имъетъ права «отвергать свой крестъ» (XII, 705, 904).

Такихъ мъстъ можно указать еще нъсколько, но не въ нихъ дело: въ техъ же «Братьяхъ Карамазовыхъ» есть эпизодъ, уже окончательно рашающій вопросъ, -мы говоримъ о «таинственномъ посътителъ» изъ разсказовъ старца Зосимы. Старецъ Зосима, какъ мы это еще увидимъ, постоянно высказываеть самыя дорогія, сокровенныя мысли Достоевскаго; высказываеть онъ и мысль объ искупительности страданія. Тапиственный гость старда Зосимы убилъ изъ мщенія и злобы человъка и четырнадцать лётъ скрывалъ оть всёхъ это преступление и носиль наказаніе за это въ своемъ сердць; наконець, онъ не выдержалъ гнетущей душевной боли и сталъ мечтать о томъ, какъ онъ выйдеть передъ народомъ и объявить всёмъ, что убилъ человёка. «Наконецъ, увёровалъ всёмъ сердцемъ своимъ, что, объявивъ свое преступленіе, излъчить душу свою, несометено, и успоконтся разъ навсегда». Каторга не пугаеть его, ибо что она по сравнению съ муками его совъсти? (У Раскольникова были муки сознанія ошибки-но эта разница не м'вняеть д'вла). «Знаю, что наступить рай для меня, тотчасть же п наступить, какъ объявлю, -- говорить этоть таинственный посттитель: -четырнадцать лёть быль во адё. Пострадать хочу. Приму страданье и жить начну ... И старецъ Зосима говоритъ ему то же, что говорила Дуня, что говорила Соня Раскольникову, что такъ часто говорять словами Достоевскаго дъйствующія лица его романовъ: «идите, объявите людямъ. Все минется, одна правда останется... Поймуть всь подвигъ вашъ, не сейчасъ, такъ потомъ поймутъ, пбо правдъ послужили, высшей правдѣ, неземной». Тотъ идетъ, принимаетъ страданіе — и одиниъ этимъ сразу очищаетъ свою душу, искупаеть гръхъ пролитія крови (XII, 362-372).

Обвиняйте, если вамъ угодно, Достоевскаго въ узости, въ илоскости воззрѣній, но фактъ остается фактомъ: Достоевскій, дѣйствительно, стоялъ именно на той обыденной точкѣ зрѣнія, какая принята всѣмъ историческимъ христіанствомъ. Пролилъ кровь—покаялся — понесъ страданіе—искупилъ грѣхъ, такова приблизительно эта общая схема; напрасно только винить Достоевскаго въ шаблонѣ изъ-за признанія ея. Это одинъ изъ тѣхъ шаблоновъ, которые неразрывны съ сознаніемъ человѣка: пространствен-

ныя п временныя формы суть тоже, если хотпте, шаблоны, ибо общи сознанию всъхъ людей. Этическая норма, принимаемая Достоевскимъ, настолько же общеобязательна, съ его точки зрънія, какъ и законы пространственныхъ отношеній. «Челов'єкъ — самоц'єль», утверждаеть онъ и отвоевываеть эту этическую аксіому съ одной стороны отъ князей Валковскихъ, съ другой — отъ Кирилловыхъ; для него одинаково непріемлемы и идеалы Раскольникова. п идеалы Сони Мармеладовой: устами Раскольникова онъ осуждаеть Соню, устами Сони-Раскольникова. с...Убили! убили!» — въ отчаяньи восклицаетъ Соня, и въ этомъ восклиданін ея осужденіе Раскольникова: онъ счелъ себя въ правъ переступить черезъ провь, перешагнуть черезъ жизнь. И она права въ своемъ осуждении. Но правъ и Раскольниковъ, когда осуждаетъ Соню, эту «великую гръшницу», также переступившую черезъ жизнь: «развъ ты не то же сдълала? - спрашиваетъ онъ: -- ты тоже переступпла... смогла переступпть. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это все равно!)...» (V, 326). И онъ не менте правъ, чты Соня. Достоевскій имъ обонмъ выносить свой приговоръ. «Я — цъв», говорить Раскольниковь и переступаеть черезь человическую личность; «я-средство», говоритъ Сопя и приносить въ жертву себя; и то, и другое одинаково далеко отъ того этическаго индивидуализма, который съ такой силой былъ проповъдуемъ Достоевскимъ до послъдинхъ дней его жизни.

Въ высшей степени интересно отмътить, что Толстой въ «Войнъ и Миръ» не менъе ръшительно осуждаетъ Раскольникова и Соню Мармеладову въ лицахъ князя Андрея и Сони илемянницы Ростовыхъ. Князь Андрей казнится за свою чрезмърно развитую личность, за свой крайній эгонзмъ, выражающійся въ его безмърномъ честолюбіи: «смерть, раны, потеря семьи... ничто мнѣ не страшно — признается самъ себъ Андрей Болконскій: — и какъ ни дороги, ни милы мнъ многіе люди, — отецъ, сестра, жена — самые дорогіе мнѣ люди; но какъ не страшно и неестественно это кажется, я всѣхъ ихъ отдамъ сейчасъ за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себъ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать». Соня

казнится за обратное: за чрезмърное забвение своей личности; недаромъ Наташа примъняетъ къ ней слова Евангелія о томъ, что имущему дается, а у неимущаго отнимается. «Она-непмущій: за что? не знаю; въ ней нъть, можеть быть, эгоизма — я не знаю; но у ней отнимется и все отнялось». И этой Сонъ Раскольниковъ могь бы повторить то же, что сказалъ Сонт Мармеладовой: ты преступна, ибо ты загубила жизнь... свою-это все равно! И несчастная Соня оканчиваеть свои дни экономкой-приживалкой въ домъ своего бывшаго жениха, а князь Андрей казнится, въ концъ концовъ, сознаніемъ мелочности всткъ своикъ эгопстически-честолюбивыхъ плановъ и нам'треній. Въ этихъ типахъ и Толстой, и Достоевскій одинаково проявляли всю глубину своего этическаго индивидуализма.

Въ рельефномъ раскрытіп этого этпческаго пидивидуализма — весь смыслъ «Преступленія и Наказанія». Раскольниковъ преступилъ выешую этическую норму, какал только мыслима челов комъ; онъ призналь челов вческую личность — средствомъ, онъ принципіально произвелъ высшее нарушение правъ чужой пндпвидуальности — онъ пролиль кровь. Если бы онъ убиль, какъ простой злодейизъ мести, изъ-за голода, то и въ такомъ случат онъ нарушилъ бы высшую этическую норму, и тогда долженъ быль бы искупить свою вину страданіемъ, подобно тапиственному гостю старца Зосимы; но въ такомъ случав весь романъ имълъ бы смыслъ обыденнаго анекдота... Убилъ-покаялся-пострадалъ, случайно нарушилъ законъ и пскупилъ вину. Совершенно не то мы имфемъ въ Раскольниковъ. «...Еслибъ только я заръзалъ изъ того, что голоденъ былъ, -- говоритъ онъ однажды Сонъ, уппрая на каждое слово, загадочно, но искренно смотря на нее, то я бы теперь счист. шег быль! Знай ты это!» (V, 412). И онъ правъ. Его вина неизмъримо больше: онъ не только нарушилъ мимоходомъ нравственный законъ, онъ принципіально возсталь на него; его преступленіе — принципіальное отрицание этической нормы самоцъльности человъка, а потому и его преступленіе, и его наказаніе получають совершенно особый, глубокій смыслъ. Здёсь Достоевскій впервые показаль намъ гибель смёльчака, осмёлившагося дерзко коспуться Скиніп Завіта, осквернить Святое Святыхъ

человъческаго сознанія; занесъ руку — и былъ низвергнуть,

переступилъ-и палъ...

Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» Достоевскій еще дважды коснулся этой же темы, но никогда и нигдѣ не достигъ той силы, съ которой выступилъ въ «Преступленіи и Наказаніи»; никогда такъ ясно не освѣщалъ онъ глубочайшія проблемы этическаго индивидуализма. И если возможно хоть отчасти доказать принципъ самоцѣльности человѣка, то въ своемъ романѣ Достоевскій далъ геніальное «доказательство отъ противнаго» всей системы этическаго индивидуализма. Глубже его, во всей міровой литературѣ, не пошелъ никто.

XVI.

Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» мы снова питемъ разработку этой же темы, но лишь отчасти, мимоходомъ, и притомъ съ нъсколько пной стороны: Иванъ и Смердяковъ стоять ближе из Кириллову, чёмъ къ Раскольникову, а, значить, мы имтемъ туть дёло съ уклоненіемъ въ сторону этическаго ультра-индивидуализма, а не анти-индивидуализма. Раскольниковъ въ своемъ анти-индивидуализмъ гораздо ближе къ князю Валковскому, чёмъ къ Кириллову или Ивану Карамазову. И пусть не коробить читателя, что мы Раскольникова ставимъ рядомъ съ Валковскимъ, а Кириллова -- со Смердяковымъ: какъ ни различна нравственная цённость каждой изъ перечисленныхъ личностей, но въ отмъченныхъ нами парахъ есть связующее общее. Раскольниковъ со своей теоріей является типичнымъ представителемъ анти - индивидуализма; его принципъ весьма характеренъ въ этомъ отношеніп: «человѣкъ, вообще говоря -- средство; немногимъ пзбраннымъ (въ томъ числъ и мнъ) все дозволено». Князь Валковскій благоразумно умалчивалъ про пемногихъ избранныхъ и просто ограничивался утвержденіемъ «я — цъль, мнъ все дозволено»; впрочемъ, не въ этой жалкой личности дело, и мы упоминаемъ объ этомъ типъ только для того, чтобы подчеркнуть анти-пидивидуализмъ Рескольникова. Совстви иное дело Кирплловъ; онъ, какъ мы видели, вообще желаетъ освободить человическую личиность отъ всякихъ путъ; въ этомъ заключается смыслъ его единоборства съ Богомъ. Теорія Кириллова состоить въ томъ, что «всёмъ все дозволено», хоти люди этого и не видять по слёпотё своей; его задача—открыть глаза людямъ, отворить дверь къ свободё и спасти все человёчество. Иванъ Карамазовъ пришелъ къ такому же ультра-индивидуализму: во многомъ онъ является продолженіемъ и развитіемъ типа Кириллова. «...Коли Бога безконечнаго нётъ, то и нётъ никакой добродётели, да и не надобно ея тогда вовсе»—такъ повторяетъ мысль Ивана Смердяковъ: — «все позволено» (ХП, 748).

Однако, между воверѣніями Ивана Карамазова и Кириллова есть одна чрезвычайно существенная разница, которая роднить Ивана отчасти и съ Раскольниковымъ. По своимъ этическимъ воззрѣніямъ Иванъ Карамазовъ является среднимъ пропорціональнымъ между Раскольниковымъ и Кирилловымъ, теоретически Иванъ ближе къ Кириллову, практически-къ Раскольникову. Чтобы освободить все человъчество-такъ думалъ Иванъ, по сообщенію ero alter ego, Чорта, — снадо всегда только разрушить въ человъчествъ идею о Богъ... Разъ человъчество отречется поголовно отъ Бога... (то) человъкъ возвеличится духомъ божеской, титанической гордости и явится человъкъ-богъ». Это почти буквально слова Кириллова, съ которымъ здёсь Иванъ такъ духовно близокъ: все дозволено, ибо я-богъ, вствы дозволено, ибо вств-боги. Но дальше начинается уклоненіе къ Раскольникову, скачекъ отъ теоретическаго ультра-индивидуализма къ практическому анти-индивидуализму. Достижение человъкобожества-разсуждалъ далъе Иванъ-можетъ еще затянуться на тысячи лётъ, въ виду вакорентлой глупости человтческой; поэтому «всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно какъ ему угодно, на новыхъ началахъ. Въ этомъ смыслъ ему «все позволено». Мало того: если даже періодъ этотъ и никогда не наступить, то такъ какъ Бога и безсмертія все-таки нътъ, то новому человъку позволительно стать челов кобогомъ, даже хотя бы одному въ цёломъ мірё: и ужъ, конечно, въ новомъ чинё, съ легкимъ сердцемъ перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежняго раба-человъка, если оно понадобится. Для Бога не существуеть закона! Гдъ станеть

Вогь—тамъ уже мѣсто Вожіе! Гдѣ стану я, тамъ сейчасъ же будетъ первое мѣсто... «все дозволено» и шабашъ!..» (XII, 768—769). Здѣсь уже мы имѣемъ переходъ къ практикѣ Раскольникова, при сохраненіи теоріи Кириллова: только немногимъ избраннымъ, только «новому человѣку» дано право переступать черезъ все; Раскольниковъ тоже даваль такое право только немногимъ, несущимъ «новое слово». Результатъ одинаковъ: и Раскольниковъ, и Иванъ поставили именно себя на это первое мѣсто, а потому сба они дерзнули, оба переступили черезъ кровь. Раскольниковъ убилъ старушонку, Иванъ позволилъ Смердякову убить отца: въ этомъ связь «Преступленія и Наказація» съ «Братьями Карамазовыми». Разница къ теоріи: мию все позволено, если я новый человѣкъ, — рѣшаетъ Раскольниковъ; всюмъ все позволено — говоритъ Иванъ Карамазовъ.

Иванъ Карамазовъ убилъ своего отца. Пусть и Алеша н Катерина Ивановна убъкдають его, что не онг убійцаонъ имъ не въритъ, и въ правъ не върить. Онъ самъ знаеть, что въ глубинъ души если и не желалъ, то, во велконъ случав, ждалъ убійства своего отца, если и пе подбивалъ Смердякова, то, во всякомъ случат, и не помъшаль убійству, хотя могь пом'єтать. И онъ безсильно вышаеть обвиненіямъ Смердякова: «вы убили, вы главпый убивецъ и есть, а я только вашимъ приспѣшникомъ быль, слугой Личардой вёрнымъ, и по слову вашему дъло это и совершилъ» — «главный убивецъ во всемъ здъсь единый вы-съ, а я только самый не главный, хоть это и я убиль. А вы - самый законный убивець и есть!» (XII, 737, 742 и др.). Пванъ- главный убивецъ» оттого, что именне опъ вселилъ въ лакейскую душу Смердакова гордую мысль о томъ, что «все дозволено», которую тотъ истолноваль самыми плоскимь, самымь лакейскимь образомъ. О Смердяковъ много говорить не приходится: онъ, дъйствительно, только Личарда-върный, на которомъ Достоевскій показываеть, до какого преділа межеть довести жалкаго мъщанина титаническая, сверхъ-человъческая мысль. «...Не предразсудокъ ли кровь?» (XII, 823) этотъ вопросъ, несомивнно, стоялъ и передъ Смердяковымъ, и передъ Иваномъ и даже передъ Кирилловымъ; вст они ръшили его въ положительномъ смыслъ. Да, кровь —

предразсудокъ, ибо все дозволено и, вотъ, Смердяковъ, какъ мелкій убійца, проливаеть кровь отца, Иванъ въ принципъ допускаетъ пролитіе крови, Кирилловъ проливаетъ свою кровь. Свою, чужую — это все равно, можемъ мы повторить словами Раскольникова: загубить чужую жизнь, загубить свою жизнь — значить одинаково переступить черезъ человъческую лачность. Казнь Раскольникова мы видъли; Смердяковъ получаетъ возмездіе по заслугамъ — его лакейская душа не выносить поднатаго бремени понь кончаеть съ собой. Иванъ встхъ виновите — и ему приходится нелегко: тяжелымъ гнетомъ лежить на его сознаніи мысль, что не Смердяковъ, а онъ — убійца, мысль, доводящая его до мучительной болтувни.

Возмездіе, наказаніе — ва продитіе крови, за это высшее преступление противъ человъческой личности... Намъ не хотвлось бы, однако, повторяемъ это еще и еще разъ, чтобы насъ поняли слишкомъ узко; а Достоеженато слишкомъ плоско. Торжество добродътели и наказание порока-обычная мораль плохенькихъ разсказовъ для дътей, и не Достоевскому было проводить эту мораль вы своихъ безконечно-глубокихъ произведеніяхъ. Онъ позволяеть какому-нибудь Павлу Верховенскому (въ «Вѣсать») «безъ всякой задумчивости» совершить возмущающее душу убійство Шатова и благополучно избътнуть вели и в ин и небесной кары; онъ еще въ «Мертвочъ домі» быль знавкомъ съ цёлымъ рядомъ проливинкъ кровь людей, которые къ своимъ иногда звёрскимъ преступления относились внолнт равнодушно, —а, въдь, тутъ все дъло пично во внутреннемъ «возмездіи», а не внъшнемъ. Но онъ безпощадно казнить тёхъ, которые перешагнули черезъ кровь въ силу принципа, принципа отрицанія самод'єльности человъческой личности или чрезмърнаго утвержденія ея. И въ этомъ, по нашему митнію, Достоевскій не только этически, но и психологически правъ.

Нетрудно представить себѣ самаго закоренѣлаго звърскаго убійцу, который не чувствуеть ни малѣйнихъ угрызеній совѣсти; еще легче представить себѣ «нерасканннаго» убійцу, пролившаго кровь отъ голода, ревности, мщенія, — особенно, если все это люди, не домедшіе еще до опредѣленныхъ сомнѣній и запросовъ. Но представьте

себъ человъка, который мучительной внутренней работой пришелъ къ убъжденію, что въ нъкоторыхъ случаяхъ убійства принципіально дозволительны (Раскольниковъ), или что они дозволены вообще, ибо «все дозволено» (Иванъ Карамазовъ); представьте себъ, далъе, что такой человъкъ, дъйствительно, убилъ, и убилъ главнымъ образомъ изъ-за принципа-а, въдь, такъ убилъ и Раскольниковъ, и Смердяковъ: «я захотълъ осмълиться и убить... я только осмълиться захотёль, Соня, воть вся причина!» — объясняеть свой поступокъ Раскольниковъ (V, 416), а Смердяковъ объясняетъ, что убилъ «пуще всего потому, что «все позволено»... (XII, 748). Оба они убили теоріи ради. И, вотъ, въ этомъ случат кажется психологически невозможнымъ, чтобы за такимъ пролитіемъ крови не посл'єдовало внутреннее возмездіе. Возмездіе это можеть выражаться въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, будетъ ли то сознаніе ошибки у Раскольникова или сознаніе своей причастности къ не имъ совершенному убійству у Ивана, или холопская подавленность и приниженность духа у Смердякова, но возмездіе это психологически неизбѣжно: вѣдь, дойти до мысли о такомъ «принципіальномъ убійствъ» можно только путемъ бурнаго, долгаго и мучительнаго внутренняго процесса, -- это особенно ярко выражено у Раскольникова; и есть ли хоть малёйшая психологическая возможность предполагать, что посл'в пролитія крови этоть внутренній процессъ можетъ прекратиться, сойти на нътъ? Не ясно ли, что онъ долженъ усилиться, возрасти до громадныхъ, безконечныхъ размъровъ, подавить всю исихику человъка, какъ бы онъ ни былъ глубоко убъжденъ въ своей теоріи? И въ этомъ внутреннемъ, мучительномъ процессъ лежитъ все возмездіе за нам'вренное нарушеніе принципа самоцъльности человъка; въ этомъ процессъ разложенія-та страшная мука, передъ которой каторга — ничто. Такъ казнить этическій индивидуализмъ своихъ крайнихъ отрицателей; и какъ бы ни называлось это возмездіе - укорами совъсти, сознаніемъ теоретической ошибки, раскаяніемъ и т. п., — мы видимъ въ признаніи неизбѣжности его глубокую психологическую и этическую правду Достоевскаго, ярко высказанную въ «Преступленіи и Наказаніи», а отчасти и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ».

XVII.

Мы кончили съ этой идеей, которую Достоевскій проводиль въ указанныхъ двухъ романахъ. Идя далће, приступая къ дальнъйшему разбору идей Достоевскаго, провозглашенныхъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», мы прежде всего должны отчасти реабилитировать Ивана, указать, что онъ по развитію своихъ мыслей стоить гораздо выше и Раскольникова, и Кириллова, идетъ гораздо дальше ихъ: онъ сумълъ не только построить ультра - индивидуалистическую теорію съ анти-индивидуалистическимъ примъненіемъ ея, но сумъль также и перешагнуть черезъ эту теорію. Во время кошмара Ивана теорію эту («все позволено») излагаеть Чорть, слицетвореніе всего пошлаго, глупаго, отброшеннаго, что только было въ самомъ Иванъ. Если лакей Смердяковъ примънилъ на дълъ теорію Ивана, то Чортъ, котораго Иванъ тоже недаромъ называетъ «лакеемъ», неустанно напоминаетъ Ивану объ этой теоріи. Иванъ видитъ воочію, до какой степени жалка его теорія, особенно въ томъ опошленномъ видъ, въ какомъ ее преподносить Чорть, олицетвореніе худшей половины его существа. «...Ты-я, самъ я, только съ другой рожей,восклицаетъ Иванъ: -- ты именно говоришь то, что я уже мыслю... и ничего не въ силахъ сказать мнт новаго!.. Только все скверныя мои мысли берешь, а главноеглупыя. Ты глупъ и пошлъ. Ты ужасне глупъ»... А передъ темь, какъ Чорть начинаеть излагать теорію «все позволено», старую теорію Пвана, тоть опять съ мученіемъ признается: «все, что ни есть глупаго въ природъ моей, давно уже пережитаго, перемолотаго въ умъ моемъ, отброшеннаго, какъ падаль, ты мет же подносишь, какъ какую-то новосты!» (XII, 755, 768).

Итакъ, теорія Ивана — уже пройденный имъ этапъ; онъ ее пережиль, онъ ее перестрадаль и отбросиль ее, какъ падаль... Отъ теоретическаго ультра-индпвидуализма и практическаго анти-индпвидуализма онъ перешель къ яркому и рельефному этическому индивидуализму. Устами Ивана Достоевскій высказываетъ свои завѣтнѣйшія мысли, которыя въ другихъ произведеніяхъ онъ высказываль и отъ своего лица; никогда еще онъ не доходиль до такихъ глу-

бинъ проникновенія, до такой силы отрицанія. Раскольниковъ въ сферъ этической, Кирилловъ въ области религіозной мысли -- только предшестренники Ивана Карамазова; критика его неизмърпмо опаснъе, неизмъримо глубже. Прежде самъ онъ, какъ мы знаемъ, думалъ, что для нравственнаго освобожденія человічества въ немъ надо только разрушить идею о Богъ; это не такъ ужъ далеко отъ Кирилловской теоріи о томъ, что разъ Бога нътъ, то «вси воля-моя». Теперь Иванъ пдеть гораздо глубже: онъ не отрицаетъ категорически существованія Бога, а потому съ метафизической точки зрвнія болье правъ, но въ то же время онъ еще болже категорически, чжиъ раньше, отрицаетъ полю Бога, право Его дёлать человёка средствомъ. Онъ не утверждаетъ, подобно Кириллову, логически п этически противоръчиваго «своеволія», но онъ отстаиваетъ отъ всёхъ, даже отъ Еога, право человека быть самоцёлью. Въ этомъ выражается «бунть» его мысли.

Для Ивана Карамазова принятіе иден Бога равносильно признанію абсолютнаго телеологизма, міровой гармоніп, нравственнаго міронорядка. Есть Богь или пътъ? это вопросъ, совершенно несвойственный нашему «эвклидовскому» уму, способному познавать только явленія, а не сущности, а потому вопросъ этотъ совершенно устраняется Иваномъ Карамазовымь: онъ начинаетъ съ того, что «принимаеть» Бога. «...Принимаю Бога, п не только съ эхотой, но, мало того, принимаю и премудрость Его, п цёль Его, намъ совершенно неизвъстныя, върую въ порядокъ, въ смыслъ жизни, върую въ въчную гармонію...» (XII, 279). Но, принимая Бога, принимая цёль Его, Иванъ не можетт принять, чтобы средством къ этой инли была человний, -- въ этомъ все содержание бунта его мысли. Если на страданіяхъ и слевахъ одной части людей только и можеть быть постреено счастье и благо другой части, то не надо этого счастья, хотя бы средством быль одинь только человыкь! Съ религіозной точки зрвиія это равносильно отрицанію возможности примиренія иден существующаго въ нірѣ зла съ пдеей всеблагого Творца міра; на этой почев Достоевскій, въ лицв Ивана Карамазова, и основываетъ этическую проблему. Насъ здёсь интересуеть, главным в образомъ, этическая проблема сама по себѣ, мысли Ивана о самоцѣльности человѣческой личности, о рѣзкомъ дуализмѣ міра сущаго и должнаго.

Иванъ намъренно суживаетъ вопросъ п говоритъ не о страданін челов'ї чества вообще, а о страданін только дётей. Это имфетъ двоякій смыслъ, неполовину раскрываемый самимъ Иваномъ, наполовину ясный самъ по себъ. Ребенокъ — еще не полная человъческая личность, индивидуальность, такъ что если будеть доказано, что личность ребенка ни въ какомъ случат и ни для кого не можетъ быть только средствомъ, то кольми паче это будеть относиться къ полной и цельной человеческой личности! Это - съ одной стороны. Съ другой - осуждение страданія дітей не подлежить тому возражению со стороны фанатиковъ историческаго христіанства, которое они всегда выставляють, оправдывая и узаконивая страданія людей вообще: страданіе есть возмездіе за грѣхи, за то, что люди «съвли яблоко» и «продолжають и теперь тсть его». Страданіе за свои гртхи — пусть такъ, съ этимъ Иванъ вполнъ готовъ согласиться; но объясиять страданія дътей чужими гръхами, гръхами ихъ отцовъ и прадъдовъ, -- вотъ что не умъщается въ его пониманіи. «...Дъточки ничего не събли и пока еще ни въ чемъ не виновны, - разсуждаеть по этому поводу Ивань: — если они на землъ тоже ужаено страдають, то ужь, конечно, за отдовъ своихъ, съввшихъ яблоко; -- но, въдь, это разсуждение изъ другого міра, сердцу же человіческому здісь на землів непонятное. Нельзя стридать неповинному за другого, да еще такому неповинному!» (XII, 282).

Запомнимъ эти подчеркнутыя нами слова, въ которыхъ сказалось глубочабнее убъждение Ивана (и Достоевскаго) въ самоцъльности человъческой личности; мы увидимъ скоро, что и у Достоевскаго, также какъ у Толстого, была своя шуйца, возводившая именно страдание неповиннаго за другого въ этическій законъ. Теперь же замътимъ только то, что Иванъ, конечно, не отрицаетъ факта страданія неповинныхъ дътей; болье того, онъ, конечно, твердо знаетъ всъ реальныя причины такого факта—причины физіологическія, психологическія, экономическія и т. и.; но онъ въ то же время признаетъ

этотъ фактъ вопіющей несправедливостью, другими словами, признавая этотг фактг, какг сущее, онг его отрицаеть, какь должное. «Я не Бога не принимаю, пойми ты это, -- объясняеть онъ Алешъ, -- я міра, Имъ созданнаго, міра-то Божьяго не принимаю и не могу согласиться принять». Не принимаю Божьяго міра, это значитъ въ устахъ Ивана - не принимаю, что міръ построенъ такъ, какъ этого требуетъ нравственное чувство человъка; мое нравственное чувство требуеть, чтобы человъкъ не былъ средствомъ, на страданіяхъ же дътей я вижу именно противоположное. Примиренія здёсь никакого нъть и быть не можеть, выхода никакого, если только не считать выходомъ попытку закупорить вст свои пять чувствъ, не спрашивать, не разсуждать, не ставить проклятыхъ вопросовъ... «Я ничего не понимаю, —прододжаетъ Иванъ, какъ бы въ бреду, -я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при фактъ. Я давно ръшилъ не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчасъ же измѣню факту, а я рѣшилъ оставаться при фактъ»... (XII, 279, 288).

Итакъ, между сущимъ и должнымъ Иванъ признаетъ непримиримый дуализмъ; однако, попытка не ставить проклятаго вопроса, не разсуждать на эту тему не можетъ удаться: иначе пришлось бы признать весь нашъ міръ грандіозной и своеобразной системой оффиціальнаго мъщанства, для которой «не разсуждать — повиноваться» девизъ былъ общій... И Иванъ въ дальнъйшемъ не только разсуждаетъ, но и безпошадно осуждаетъ ту «всемірную гармонію» будущаго, которая вся построена на страданіяхъ живыхъ людей. Онъ готовъ признать, что въ итогъ человъческой исторіи наступитъ рай земной или небесный, что въ «міровомъ финалъ» прекратятся всъ страданія, искупятся всъ преступленія... ну, однимъ словомъ тогда другъ друга обнимемъ, братіе, и возвеселимся... Пусть будетъ такъ. Но... тутъ является два «но».

Во-первыхъ, если все это случится только для немногихъ людей, вънчающихъ собой всемірную исторію, то это не можетъ удовлетворить Ивана. Базаровъ когда-то возмущался, что изъ него лопухъ будетъ расти, а какойнибудь Филиппъ или Сидоръ будетъ блаженствовать въ

бълой и чистой избъ. Съ этой довольно таки неглубокой философіей не надо смъшивать глубочайшій этическій индивидуализмъ Ивана Карамазова: онъ считаетъ цёлью не себя, а человъка вообще, каждую человъческую личность. Вотъ почему онъ не можетъ удовлетвориться вселенской гармоніей немногихъ, если все остальное человъчество послужило ей только средствомъ. За то, что онъ былъ средствомъ, -- онъ хочетъ видъть цель: «мне надо возмездіе, иначе, въдь, я истреблю себя. И возмедіе не въ безконечности гдъ-нибудь и когда-нибудь, а здъсь уже, на землъ, и чтобъ я его самъ увидалъ. Я въровалъ, я хочу самъ и видъть, а если къ тому часу буду уже мертвъ, то пусть воскресятъ меня, пбо если все безъ меня произойдеть, то будеть слишкомъ обидно. Не для того же я страдаль, чтобы собой, злодыйствами и страданіями моими унавозить кому-то будущую гармонію» (курсивъ нашъ). Это-перое «но».

Допустимъ, что препятствіе это благополучно устранено, что желаніе Ивана исполнено, что всю люди постигли, наконецъ, цъль и сами стали цълью: Иванъ не можеть примириться и съ этимъ, такъ какъ видитъ въ прошломъ безконечный рядъ безсмысленныхъ, ненужныхъ, неповинныхъ страданій. Страданія искупають вину-мы знаемъ, что это завътнъйшая мысль Достоевскаго: теперь онъ дополняеть эту мысль обратнымъ положеніемъ: но неповинныя страданія не могуть быть искуплены ничтыми. «Но вотъ, однакоже, дътки, и что я съ ними стану тогда дёлать?... Слушай: если всё должны страдать, чтобы страданіемъ купить въчную гармонію, то причемъ туть дёти, скажи мнё, пожалуйста? Совствить непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачемъ имъ покупать страданіями гармонію? Для чего они-то тоже понали въ матеріалъ и унавозили собою для кого-то будущую гармонію? Солидарность въ грѣхѣ между людьми я понимаю, понимаю солидарность и въ возмездін, но не съ дътками же солидарность въ гръхъ, и если правда въ самомъ дёлё въ томъ, что и они солидарны съ отцами ихъ во всёхъ влодёйствахъ отцовъ, то, ужъ конечно, правда эта не отъ міра сего и мнт непонятна».

Итакъ, и рай земной, и рай небесный одинаково непріемлемы для Ивана, ибо и тотъ, и другой построены на страданіяхъ неповинныхъ, которыя ничемъ и никемъ не могутъ быть искуплены. Быть можетъ, вселенская гармонія не могла быть куплена другой цёной? Но тогда долой эту гармонію, она не нужна намъ: «если страданія дътей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранъе, что вся истина не стоить такой цъны ... Иванъ готовъ согласиться, что съ какой-нибудь сверхъ-человъческой точки зрѣнія, быть можеть, стануть ясными и пріемлемыми безвинныя страданія, обращающія челов жа въ средство; но онъ не хочетъ этого сверхъ-человъческаго пониманія, онъ отказывается отъ него заранте: «видишь ли, Алеша, въдь, можеть быть, и дъйствительно такъ случится, что когда я самъ доживу до того момента, али воскресну, чтобы увидать его, то и самъ я, пожалуй, воскликну со вежми, смотря на мать, обнявшуюся съ мучителемъ ея дитяти: «Правъ ты, Господи», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще есть время, спъту оградить себя, а потому отъ высшей гармоніп совершенно отказываюсь. Не стоить она слезинки хотя бы одного только... замученнаго ребенка... Лучше ужъ я останусь при неотищенномъ страданін моемъ и неутоленномъ негодованін моемъ, хотя бы я быль и неправз. Да и слишкомъ дорого оцфинии гармонію, не по карману нашему вовсе столько платить за входъ 1). А потому свой билеть на входъ спѣшу возвратить обратно. И если только я честный человѣкъ, то обязанъ возвратить его какъ можно заранѣе. Это я п дълаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билеть Ему почтительнъйше возвращаю» (XII, 280-290).

Никто и никогда не доходиль еще до такихъ безконечныхъ глубинъ этическаго индивидуализма! Никто и никогда не ставилъ такъ геніально проблему самоцѣль-

¹⁾ Любопытно сравнить эти слова Ивана со словами героя трагедіи Бѣлинскаго - Дмитрій Калининъ (1831 г.): «...териѣть здѣсь, чтобы вѣчно наслаждаться тамъ! Вотъ истинно превосходная и вмѣстѣ преутѣшительная философія... Какъ! Неужели вѣчное блаженство непремѣнео покупается цѣною ужаснѣйшихъ страданій? Дорого же оно приходится!...»

ности человъка, никто и никогда не вскрывалъ такъ ярко всю этическую непріемлемость формулы «человъкъ - средство»! И какъ слабо, какъ бездарно плоско и слабо все то, что пытались возражать Достоевскому даже самые талантливые изъ его оппонентовъ! Не говоримъ уже объ оффиціальныхъ представителяхъ церковнаго взгляда: тъ только и могли нарировать удары Достоевскаго ссылкой на благость Промысла и на невозможность человъку возвыситься до божественныхъ предначертаній: посему пусть страдають младенцы, невинныя дети, а «тамъ видно будетъ», какъ говоритъ про «тотъ свътъ» чеховская старушенка (изъ разсказа «Канитель»). Эта точка эртнія, рекомендующая человтку не разсуждать, а повиноваться, превращающая всю всемірную исторію въ какую-то безконечную эпоху оффиціальнаго м'єщанства, нашла еще задолго до Достоевскаго (п именно по тождественному вопросу) прекраснаго представителя въ лицъ поэта Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ его піетическихъ размышленій (1850 г.) мы находимъ следующій пассажь: ребенокь прыгаль съ копны сена,разсказываеть Жуковскій; внигу въ стит торчали вилы, проколовшія ребенка насквозь, и онъ умеръ въ жестокихъ мученіяхъ. «Какъ изъяснить это ужасное событіс въ смыслъ Провидънія?... гдъ же благость Промысла?... Отв'єть на все это простой (ужъ подлинно!): мы должны не по событіямъ судить Промыслъ Божій, а событія по Промыслу Божію ... Вотъ какъ просто! Мы не останавливались бы на такомъ упрощенномъ объяснении, если бы его почти дословно не повторилъ одинъ изъ наиболъе глубокихъ комментаторовъ Достоевскаго (В. Розановъ, «Легенда о Великомь Инквизиторт», 1893 г.), впоследствін, впрочемъ, измѣнившій свои религіозныя воззрѣнія. Другой комментаторъ, посвятившій тенкому анализу Достоевскаго (и Толстого) одно изъ лучшихъ имфющихся до сихъ порь изследованій, Д. Мережковскій, отмахивается отъ проклятаго вопроса шаблонной фразой: «Слевинка замученнаго ребенка-во времени, въ явленіяхъ; но передъ Богомъ имъетъ она и въчное, нуменальное значеніе, какъ символъ» (Ор. cit.; II, 371). Да, въдь, Иванъ именно и отрицаетъ нуменальную точку зрѣнія,

онь все время подчеркиваеть, что человъкъ можеть стоять только на феноменальной, человъческой точкъ зрънія, онъ заранте отказывается отъ нуменальной истины, купленной тяжелой цтной безвинныхъ страданій! И какъ легко отъ вста этихъ поистинт «проклятыхъ вопросовъ» отдълаться признаніемъ сверхчеловтческаго смысла без-

винной человъческой муки! *).

Нъть, съ тяжелой проблемой, такъ глубоко формулированной Достоевскимъ, нельзя раздёлаться настолько упрощеннымъ способомъ; возникающія дилеммы, религіозная и этическая, является, быть можетъ, наиболъе тяжелыми и глубокими изъ всёхъ проблемъ, стоящихъ передъ человъкомъ. Что касается религіозной проблемы, которой мы касаемся только вскользь, то Достоевскій ставить передъ каждымъ върующимъ три слъдующихъ пути на выборъ: 1) или-полный гностицизмъ, боязливое насиліе надъ собою: върь, а не разсуждай, ибо «мы должны не по событіямъ судить Промыслъ Божій, а событія по Промыслу Божію»... 2) или -при сохраненіи въры во всеблагого Бога, признание Его непричастности влодъйствамъ міра сего, а, значитъ, отрицаніе Его, какъ Творца сущаго... 3) или, наконецъ, - при сохраненіи въры въ Творца міра сущаго, отрицаніе его всеблагости, признаніе Его непричастности міру должнаго... Первый путьпуть выродившагося историческаго христіанства: Достоевскій становился на этоть путь, когда одолівала его шуйца, но, вообще говоря, не принималь и не могъ принимать его. Второй и третій путь формулирують собой непримиримый дуализмъ сущаго и должнаго, дуализмъ непримиримый даже на религіозной ступени. Когда черезъ четверть въка послъ Достоевскаго нео-идеализмъ ХХ-го стольтія снова вернулся къ религіозной системъ, къ теодицев, то и онъ не могъ пойти дальше Достоевскаго на этомъ пути и ограничился простымъ принятіемъ второй изъ указанныхъ возможностей. «Бога мы прежде всего мыслимъ не какъ виновника міра, а какъ идеалъ міра» (см. сборникъ «Проблемы идеализма», 1903 г., стр. 130): здёсь опять-таки дуализмъ, невозможность

^{*)} Подробнъе обо всемъ этомъ-въ моей книгъ «О смыслъ жизни».

примирить должное съ сущимъ, не вычеркивая одно или другое.

Этическая проблема ставится Достоевскимъ не менте геніально. Самоцільность человіческой личности выясняется на примъръ ребенка, неполной человъческой личности — и тъмъ полнъе, тъмъ сильнъе все доказательство. Достоевскій съ изумительной силой вскрываеть всю этическую невозможность для человъка признать личность ва средство, хотя бы одну только личность, хотя бы для достиженія всечеловіческаго счастья; тімь паче является этически невозможной жертва сотенъ людей ради блага одного. Одна слезинка безвинно страдавшаго ребенка перевѣшиваетъ на вѣсахъ высшей человѣческой справедливости всю всемірную гармонію: этимъ Достоевскій высказываеть свое положение объ этически абсолютномъ значеніи человической личности; вокругь этого центра вращаются всв мысли Достоевскаго, къ этому центру притягивается все его вниманіе. Начиная съ «Записокъ цзъ подполья», этой темъ и были посвящены въ своей существенной части всв произведенія Достоевскаго; въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» она вскрыта въ последній разъ, съ безконечной проникновенностью и углубленностью. Пусть все это вложено въ уста Ивана Карамазова: слишкомъ очевидно, что за нимъ стоитъ самъ Достоевскій; въ этомъ мы еще будемъ имъть случай убъдиться.

Иванъ Карамазовъ не ограничивается прямымъ докавательствомъ своихъ идей: онъ подходитъ къ этическому
индивидуализму еще съ другой стороны, еще разъ съ
«доказательствомъ отъ противнаго». Мы говоримъ про
его поэму «Великій Инквизиторъ». На немногихъ страницахъ этой «поэмы» Достоевскій достигъ, какъ кажется,
кульминаціонной точки своего творчества; мы не имѣемъ
возможности здѣсь съ достаточной подробностью остановиться на томъ геніальномъ анализѣ историческаго христіанства, который составляетъ главное содержаніе поэмы,
вмѣстѣ съ раскрытіемъ идеаловъ христіанства истиннаго.
Этого главнаго пункта мы коснемся мимоходомъ и ограничимся только этической стороной вопроса, въ его связи
съ извѣстными намъ уже взглядами Достоевскаго.

XVIII.

Въ «Великомъ Инквизиторъ» прежде всего повторяются и развиваются прежнія мысли Достоевскаго о сопіологическомъ анти-индивидуализмъ. Въдь, самъ Великій Инквизиторъ есть не кто иной, какъ Шигалевъ въ монашеской рясѣ, воплощенный въ іезупта XVI-го столѣтія. Какъ мы помнимъ, Шигалевъ предлагалъ раздълить человъчество на двъ неравныя части: одна десятая доля получаеть свободу личности и господство надъ остальными девятью десятыми, которые должны потерять личность и обратиться въ родъ какъ въ стадо. Великій Инквизиторъ только развиваетъ и дополняетъ эту идею, столь глубоко враждебную Достоевскому; дополняеть же онъ ее одней ндеей Раскольникова объ основномъ чувствъ людей, принадлежащихъ къ этой десятой части человъчества: люди эти, по терминологіи Раскольникова, «им'єющіе право», ибо истинно великіе люди «должны ощущать на свътъ великую грусть» (V, 261), Причина этой «великой грусти» рельефно вспрывается въ «Бъсахъ» на типъ Кириллова: человъкъ, стоящій выше общаго уровня, позналъ послъднюю свободу, а свобода эта непереносима для человъка, онъ не можетъ ее вибстить. Всъ эти три момента, разрозненные въ пдеяхъ Шигалева, Раскольникова и Кириллова, съ замъчательной силой и гармоніей соединены въ одно неразрывное цёлое Великимъ Инквизиторомъ, этимъ крайнимъ анти-пидивидуалистомъ, этимъ злобнымъ врагомъ этическаго индивидуализма.

Христось быль величайшимь выразителемь этическаго индивидуализма, провозгласителемь завётовь его, освободителемь человёческой личности отъ всёхъ стягивающихь ее соціальныхь, этическихь и религіозныхь путь. Въ основной заповёди Христа—возлюби ближняго, какъ самого себя, — выражена вовсе не идея илоскаго и слезоточиваго альтруизма, но идея равноцённости-человёческихъ личностей, а значить и идея человёка-самоцёли. Возставая противъ Христа, Великій Инквизиторъ возстаеть противъ этическаго индивидуализма истиннаго христіанства, причемъ основой аргументаціи его является идея неперенесимости свободы, та идея, съ которой мы уже

встрътились при знакомствъ съ Кирилловымъ. По словамъ Великаго Инквизитора, Христосъ далъ людямъ свободу выбора, а это-страшное бремя, непосильное для человъка: «Ты возжелалъ свободной любви человъка, -говорить Великій Инквизиторъ Христу, - чтобы свободно пошель онь за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Витсто твердаго древняго закона, свободнымъ сердцемъ долженъ былъ человъкъ ръшать впредь самъ, что добро и что зло, имъя лишь въ руководствъ Твой образъ передъ собою; -- но неужели Ты не подумалъ, что онъ отвергнетъ же, наконецъ, и оспоритъ даже и Твой образъ и Твою правду, если его угнетутъ такимъ страшнымъ бременемъ, какъ свобода выбора?...» А отвергнетъ онъ и правду и свободу неминуемо, ибо люди «малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». Правда, на милліоны людей слабыхъ найдется десятокъ другой сильныхъ духомъ людей, избранниковъ, способныхъ перенести бремя свободы и совершенствоваться подъ этимъ тяжелымъ бременемъ; это-то именно и непріемлемо для Великаго Инквизитора: «Ты гордишься Твоими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоимъ всъхъ» — такъ противопоставляеть онъ христіанству свою идею, о которой рѣчь ниже. Такимъ образомъ, Великій Инквизиторъ понимаетъ христіанство, какъ страданія милліоново людей отъ бремени свободы, при блаженствы немпочихъ десятковь вы правственномы самосовершенствовании. Если таковы, действительно, формы, въ которыя выливается христіанство, то устами Великаго Инквизитора не говорить ли самъ Достоевскій? В'єдь, тогда христіанство есть не что иное, какъ духовная шигалевщина, къ которой самъ Достоевскій питалъ такое отвращеніе. Развъ Достоевскій не высказаль вполнт опредтленно свое отношеніе къ этому вопросу, категорически заявивъ (въ «Дневникъ Инсателя», за 1876 г.): «я никогда не могъ понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальныя девять десятыхъ должны лишь послужить къ тому матеріаломъ и средствомъ». Въ этихъ словахъ-безусловное осуждение шигалевщины, а въ такомъ случав-и христіанства, если опо двиствительно является религіозно-этической шигалевщиной.

Итакъ, Достоевскій какъ будто бы согласенъ съ Великимъ Инквизиторомъ въ его осуждении христіанства ва пренебрежение къ интересамъ реальной личности (!)... Посмотримъ, не раздъляетъ ли онъ положительныхъ взглядовъ этого переодътаго Шигалева, отрицающаго шигалевщину; а положительные взгляды его діаметрально противоположны такъ понимаемому имъ христіанству. Великій Инквизиторъ считаетъ идеаломъ блаженство милліоновъ людей въ счастьи подчиненія, при страданіи немногихъ десятковъ подъ бременемъ свободнаго сознанія. Мы исправимъ Твой подвигъ — говоритъ Инквизиторъ Христу:-Ты далъ людямъ свободу, которая причинила имъ только страданія; эту свободу возьмемъ на себя мы, сильные духомъ, а взамънъ дадимъ людямъ блаженство подчиненія. «Мы дадимъ имъ тихое, смиренное счастье, счастье слабосильныхъ существъ, какими они и созданы... И они будуть намь покоряться съ весельемъ и радостью. Самыя мучительныя тайны ихъ совъсти, - все, все понесутъ они намъ, и мы все разрѣшимъ, и они повърятъ ръшенію нашему съ радостію, потому что оно избавить ихъ отъ великой заботы и страшныхъ теперешнихъ мукъ ръшенія личнаго и свободнаго. И всё будуть счастливы, всё милліоны существъ, кромъ сотни тысячъ управляющихъ ими. Ибо лишь мы, мы, хранящіе тайну, только мы будемъ несчастны. Будеть тысяча милліоновь счастливыхь младенцевъ, и сто тысячъ страдальщевъ, взявшихъ на себя проклятіе познанія добра и зла»... «Говорять и пророчествують, - продолжаеть Великій Инквизиторь, - что Ты придешь и вновь побъдишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажемъ, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли встхъ (курсивъ нашъ; XII, 292—312). Въ этомъ идеалѣ девять десятыхъ человъчества блаженствуютъ за счетъ страданій одной десятой части: не ближе ли это къ воззрѣніямъ самого Достоевскаго?

Нетрудно убъдиться, что и отрицательныя сужденія и положительные идеалы Великаго Инквизитора одинаково противоположны взглядамъ Достоевскаго. Пониманіе христіанства Великимъ Инквизиторомъ характерно для католицизма-въ этомъ основная мысль самого Достоевскаго,

вполнъ ясная изъ сопоставленія поэмы о Великомъ Инквизиторъ съ нъкоторыми мъстами изъ «Дневника Писателя», а также и «Идіота» (ср. XII, 292 — 312 и X, 107-112; VI, 583-585 и др.); недаромъ Алеша восклицаетъ, возражая Ивану и Великому Инквизитору: «но... это нелъпосты!.. и кто тебъ повърить о свободъ? Такъ ли, такъ ли надо ее понимать! То ли понятіе въ православіи»... Христіанская свобода, выражающаяся въ равноценности человеческихъ личностей, не иметъ ничего общаго съ киридловскимъ «своеволіемъ» или со свободой Великаго Инквизитора; поэтому Достоевскій не могъ раздълять ни положительныхъ, ни отрицательныхъ взглядовъ этого загримированнаго Шигалева. Достаточно уже одного того, что, по основному положению Достоевского, одинаково анти-этично жертвовать милліонами ради одного или однимь ради милліоновь людей; этическій индивидуализмъ покоится на признаніи абсолютнаго значенія человіческой личности, а значить сюда совершенно непримънимъ количественный критерій. «Скажи мнѣ самъ прямо, я вову тебя, -- спрашиваетъ Иванъ Алешу, -- отвъчай: представь, что это ты самъ возводишь зданіе судьбы человіческой съ цёлью въ финалё осчастливить людей, дать имъ, наконецъ, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице... и на неотомщенныхъ слезкахъ его основать это зданіе, согласился бы ты быть архитекторомъ на этихъ условіяхъ, скажи и не лги!

- Нѣтъ, не согласился бы, тихо проговорилъ Алеша.
- И можешь ли ты донустить идею, что люди, для которыхъ ты строишь, согласились бы сами принять свое счастіе на неоправданной крови маленькаго замученнаго, а принявъ, остаться навъки счастливымъ?

- Нътъ, не могу допустить»...

То, что здёсь Достоевскій говорить устами Ивана, онъ буквально, слово въ слово повторяеть отъ своего лица въ извёстной пушкинской рёчи (1880 г.), съ той только разницей, что вмёсто мукъ «крохотнаго созданьица», ребенка, онъ предполагаеть муки полноправной человёческой личности (ср. XII, 291 и XI, 462).

Итакъ, въ «Великомъ Инквизиторъ» еще разъ-и въ последній разъ-подчеркнуть Достоевскимъ глубочайшій принципъ этическаго индивидуализма, и еще разъ заклеймено то этическое мъщанство, въ которомъ видятъ идеаль и Шигалевъ, и Великій Инквизиторъ. Въ этомъ оба последние вполне сходятся, хотя въ пдеале перваго мы имъемъ жертву большинствомъ меньшинству, а въ идеалъ второго обратно -жертву меньшинствомъ большинству. Однако, объ эти анти-этическія дороги ведуть къ одному и тому же этическому мъщанству большинства, причемъ для Шигалева это - средство, а для Великаго Инквизитора-цёль. Шпгалевъ, какъ мы помнимъ, предписываль большинству «потерять личность и сбратиться въ родъ какъ въ стадо и при безграничномъ повиновении достигнуть рядомъ перерожденій первобытной невинности, въ родъ какъ бы первобытнаго рая»...-для того, чтобы меньшинство могло наслаждаться жизнью, не теряя своей личности. Въ такомъ же обращении людей въ обезличенное стадо Великій Пиквизиторъ видитъ самодовлівощую цёль, ибо въ такомъ этпческомъ мёщанствъ-все счастье людей. «...Стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже разъ навсегда, - пророчествуетъ онъ: - тогда мы дадимъ имъ тихое, смиренное счастье, счастье слабосильныхъ существъ, качими ени и созданы... Они станутъ робки и стануть смотръть на насъ и прижиматься къ намъ въ страхъ, какъ птенцы къ насъдкъ... Да, мы заставимъ ихъ работать, но въ свободные отъ труда часы мы устроимъ имъ жизнь, какъ дътскую игру, съ дътскими пъснями, хоромъ, съ невинными илясками... Тихо умруть они, тихо угаснуть во имя Твое, и за гробомъ обрящуть лишь смерть..., ибо если бы и было что на томъ свъть, то, ужъ конечно, не для такихъ, какъ они» (XII, 308). Здёсь мы видимъ воочію предълъ, его же не прейдеши, этическаго мъщанства: у опредъленной части людей отнимается даже личное безсмертіе (признаваемое для другой части), вслідствіе полнаго обезличенія иль въ земной жизни, вследствіе ихъ полнъйшей узости, плоскости и безличности.

Отрицая этическій индивидуализмі, мы неизбъжно приходимі на этическому мыщанству— воть выводь Достоевскаго, ясный изъ поэмы о Великомъ Инквизиторъ.

Такимъ образомъ, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» подведенъ общій птогъ проблемѣ, занимавшей Достоевскаго со времень «Записокъ изъ подполья». Тамъ мы видъли борьбу съ этическимъ анти индивидуализиомъ, въ «Преступленіп и Наказаніи» этическій педпвидуализмъ быль ярко и ртзко вскрыть доказательствомь отъ противнаго; паконецъ, въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» мы снова нашли геніально обоснованный этическій индивидуализмъ. Здёсь — апогей его силы и яркости, не превзойденный во всей міровой литературъ; здъсь съ небывалой сплой высказана основная, главная мысль всего міровоздійствія п міровоззрівнія: человикъ - шъль, а не средство, человическая личность импета этически-абсолютное значение. Нарушение этого принципа Достоевскій казнить безпощадно: мы видели это на примърахъ Раскольникова, Сопи, Смердякова, Ивана. Начонецъ, мы видъли, что общее нарушение этого принципа ведетъ, по мысли Достоевскаго, къ общему паденію, общему мъщанству: къ этому приводять всъ эвдемонистическія теорін, будь то утилитаризмъ, фурьеризмъ, шигалевщина или земной рай Великаго Инквизитора.

XIX.

Плубочайшій этическій индивидуализмы Достоевскаго мы могли затронуть самымы поверхностивмы образомы: черезчурь богато содержаніе этого индивидуализма, слишкомы глубокы его захваты у Достоевскаго; однако, все существенное не было пропущено нами. Тенерь вы заключеніе приходится сказаты нёскольно словы и о «шуйцё» Достоевскаго, которая хотя и не выростала у него до такихы уродливыхы размёровы, какы у Толстого, но всетаки часто давала себя чувствонать — по большей части тамы, гдё Достоевскій оты своихы глубочайнихы этическихы построеній переходилы кы своей напвной и путанной политической программё и общественной платформы. И какы это ни странно, но свою шуйду Достоевскій рызче всего проявлялы именно тамы, гдё ему котылось вы возможно большей полнотё выказать слою деснину.

Воть, напримърь, старець Зосима, преплонение Достоевскаго передъ котерывъ слишкомъ очевидно; его устами Достоевскій ръшается, наконецт, высказать то

«новое слово», которое Россія скажеть разлагающемуся Западу и воскресить его. Въ чемъ же будеть заключаться это «талифа куми» православной Руси? Это магическое слово — обращение государства въ церковь, т. е., то, что Достоевскій называль русскимъ соціализмомъ (ср. XII, 75, 79, 80, 372, 376 и XI, 521 — 2): этотъ «русскій соціализмъ» не уничтожаеть неравенства соціальныхъ ложеній, а, наобороть, закрѣпляеть его, но зато возвышаетъ всъхъ до всеобщаго братства на лонъ церкви. Старецъ Зосима, а за нимъ и Достоевскій такъ провидѣли наше грядущее: «...даже самый развращенный богачъ нашъ кончитъ темъ, что устыдится богатства своего передъ бъднымъ, а бъдный, видя смиреніе сіе, пойметь и уступить ему, съ радостью и лаской отвътить на благолъпный стыдъ его. Върьте, что кончится симъ; на то идетъ. Лишь въ человъческомъ духовномъ достоинствъ равенство, и сіе поймуть лишь у насъ. Были бы братья, будетъ и братство, а раньше братства никогда не раздълятся»...

Какъ мы видимъ, старецъ Зосима, въроятно, былъ хорошо знакомъ съ «Зимними записками о лътнихъ впечатлъніяхъ» Достоевскаго, ибо повторяетъ въ 1878 г. буквально все то, что было сказано тъмъ еще въ 1864-мъ. (Время дъйствія романа «Братья Карамазовы» происходить то какъ будто бы въ 1865 г., то какъ будто въ 1878 г.: см. противоръчія XII, 6 и XII, 756 и др.). Это все-тъ же умилительно-напвныя мечтанія о братствъ, растворяющемъ личность, о личности, находящей полноту индивидуальности въ братствъ, которыя мы видъли выше. Настоящая историческая эпоха есть эпоха соціальнаго ультра-индивидуализма, «періодъ человъческаго уединенія», «ибо всякій-то теперь стремится отдёлить свое лицо наиболже; хочетъ испытать въ себъ самомъ полноту жизни, а между темъ выходить изо всехъ его усилій, вмъсто полноты жизни, лишь полное самоубійство, ибо, вмъсто полноты опредъленія существа своего, впадають въ совершенное уединеніе» (XII, 361). Сліяніе въ братствъ только и можетъ спасти человъчество-п спасетъ: соть востока звъзда сія возсіяеть».

Воть новое слово Достоевскаго. Здёсь еще не сказалась его тупца,—мы уже указывали, что его идея

«братства» отнюдь не анти-индивидуалистична, и мы еще укажемъ, какое «новое слово» дъйствительно таилось подъ этой идеей, -- но, исходя отсюда, Достоевскій неизбъжно и роковымъ образомъ все больше и больше склонялся къ своей шуйцъ. Вполет ясно она проявила себя, наконецъ, въ двухъ идеяхъ: въ идев абсолютнаго самосовершенствованія и въ идеб виновности каждаго за всёхъ; впрочемъ, объ эти иден логически связаны другъ съ другомъ, также какъ и съ идеей братства. Каждый изъ людей повиненъ въ гръхъ суединения», въ соціальномъ ультра-индивидуализмъ, а отсюда беретъ начало все эло, царящее въ міръ: каждый изъ людей вносить свою долю въ это гибельное для человъка зло. А потому--«знайте, милые, что каждый единый изъ насъ виновенъ за всъхъ и за вся на землъ, несомнънно, не только по общей міровой винт, а единолично каждый за всъхъ людей и за всякаго человъка на сей землъ» (XII, 193; ср. 343, 357—8, 360 и др.). Очевидно, это-та самая «солидарность въ гръхъ между людьми», которую въ принципъ соглашался допустить и Иванъ Карамазовъ (XII, 290).

Вина каждаго за всёхъ — это тезисъ, разумъется, не этическій, а религіозный; однако, самъ старецъ Зосима указываетъ этическое противоядіе противъ этего религіознаго гръха. Каждый изъ насъ виновенъ за всъхъ, кандый изъ насъ отвётчикъ за кан:даго человека -- повторяеть онъ неоднократно; а «чуть только сдёлаешь себя за все и за всёхъ отвётчикомъ испренно, то тотчасъ же увидишь, что оно такъ и есть въ самомъ дёлё, и что ты-то и есть за всёхъ и за вся виновать»... Нётъ преступниковъ, нътъ судей -- есть лишь только отвътчики другъ передъ другомъ: «ибо не можетъ быть на землъ судья преступника, прежде чемъ самъ судья не познасть, что и онъ такой же точно преступникъ, какъ и стоящій предъ нимъ, и что онъ-то за преступление стоящаго предъ нимъ, можетъ, прежде всъхъ и виноватъ. Когда же постигнетъ сіе, то возможеть стать и судією. Какъ ни безумео на видъ, но правда-сіе. Ибо быль бы я самъ праведенг, можеть, и преступника, стоящаго предо много, не было бы» (XII, 381). Итакъ, все спасене-въ моемъ

0,

Ъ

ŗ.,

ь:

a-

RS

личномъ совершенствъ, абсолютное самосовершенствованіе искупитъ гръхи міра и приведетъ къ «русскому соціализму» — къ братству, къ царству Божію на землъ. Въ единственномъ номеръ «Дневника Писателя» за 1880 г. Достоевскій еще ръшительнъе подчеркиваетъ этотъ принципъ самосовершенствованія, какъ единое, самодовльющее, религіозно-этическое начало. «Нравственныя пден только однъ, заявляетъ онъ: — всъ основаны на идеъ личнаго абсолютнаго самосовершенствованія впереди, въ идеалъ, ибо оно несетъ въ себъ все, всъ стремленія, всъ жажды, а, стало быть, изъ него же исходятъ и всъ... гражданскіе идеалы»... Да и самъ гражданскій идеалъ «єсть единственно только продуктъ нравственнаго самосовершенство

ванія единицъ» (XI, 491—439).

Въ признаніи абсолютнаго самосовершенствованія, въ признаніи вины каждаго за всёхъ мы видимъ проявленіе шуйцы Достоевскаго, противоръчіе его своимъ же основнымъ положеніямъ этпческаго индивидуализма. Объ абсолютномъ самосовершенствовании отложимъ рѣчь до слѣдующей главы, въ которой мы разсмотримъ основныя настроенія эпохи восьмидесятыхъ годовъ, благоговъйно принявшей принципъ самосовершенствованія и цоложившей его во главу угла своего міровозэртнія; теперь же коснемся только второго пункта — признанія вины каждаго за всъхъ и каждаго: это-религіозная идея, особенно дорогая Достоевскому. Въ сущности, эта идея представляетъ изъ себя вывернутую на изнанку нашу старую знакомую славянофильскую идею о «нравственной круговой порукъ» въ «русскомъ соціализмѣ», въ русской «этической общинъ». Хомяковъ шутилъ, что даже въ рай русскіе мужички попадуть только цёлыми общинами; за этой шуткой скрыта серьезная религіозно-этическая идея; каждый спасается всёми. Достоевскій развиль отряцательную половину этой мысли и провозгласилъ виновность каждаго за всёхъ. Но эта идея кореннымъ образомъ противоръчитъ его этическому иедивидуализму, ибо это именно та «нуменальная» иден, противъ которой такъ горячо возставаль Достоевскій съ «человіческой» точки зрінія. Відь, именно эту идею отвътственности одного за гръхъ другого и отрицаль съ громадной силой Достоевскій устами Ивана

Карамазова, который взбунтовался противъ этой нуменальной пдеи! Правда, Иванъ готовъ былъ признать солидарность въ гръхъ между людьми - и то только условно; но въ то же время онъ указывалъ, что «дътки» исключаются изъ общаго правила. Но, въдь, Иванъ ограничиваетъ вопросъ отвътственностью и страданіями дътей только для сокращенія аргументацій и къ собственной невыгодъ (см. XII, 281), такъ что въ принципъ вопросъ отъ этого совершенно не мѣняется. Разсужденіе, по которому дѣти виноваты за гръхи своихъ отповъ (а, въдь, виноватъ каждый за каждаго-такъ пишетъ шуйца Достоевскаго), Иванъ считаетъ разсужденіемъ изъ другого міра, «непонятнымъ человъческому сердцу, ибо нельзя страдать неповинному за другого!...» И въ то время какъ десница Достоевскаго наноситъ удары «правдъ не отъ міра сего», шуйца его утверждаеть, что неповинныхъ нъть, и раболѣпно принимаетъ эту сверхъ-человъческую, а потому и безчеловъчную правду.

Надо, однако, глубже вникнуть въ «шуйцу» Достоев. скаго, равно какъ и Толстого. Если мы не остановимся на внѣшней сторонѣ дѣянія ихъ шуйцъ, а обратимся къ изслъдованию внутреннихъ причинъ, то безъ труда опредёлимь ту почву, которая возростила отрицательныя стороны возэрфній этихъ двухъ гигантовъ русской общественной мысли. «Великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растуть къ небесамъ»: Достоевскій выросъ изъ почвы славянофильства, настолько жадно воспринявъ его этическій индивидуализмъ, сколько Михайловскій и всѣ другіе вожди русскаго соціализма-народничества жадно впитали въ себя соціологическій индивидуализмъ западничества. Но на-ряду съ этическимъ индивидуализмомъ Достоевскій впиталъ въ себя изъ славянофильства и его основную соціологическую концепцію — идею анархизма. Мы видёли, что въ славянофильствъ анархистскія тенденціи весьма ярки и определенны и что онв основываются на той мистико. романтической почвѣ, на которой было построено и все славянофильство; мы отмътили также, что анархизмъ по своему существу есть характерно романтическая конценція. Въ Достоевскомь это сказадось особенно рельефно.

Въ началъ этой главы мы указали, что «почвенничество» Достоевскаго шестидесятых годовъ было вырожденість народничества, этого русскаго соціализма; теперь н о подчеркнуть, что вырождение это повело къ возрожденію русскаго анархизма, родоначальниками котораго были славянофилы и величайшимъ представителемъ-Достоевскій; это быль анархизмъ романтическій, анархизмъ мистическій, уживавшійся въ реальной дёйствительности съ «православіемъ, самодержавіемъ и народностью»! Типично анархистскія идеи старна Зосимы Достоевскій только потому и могь соединять со своей политической реакціонностью, что стояль на мистико-романтической почвъ и боролся со всяками проявленіями политическаго реализма и политическаго позитивизма. Онъ вель борьбу съ русскимъ соціализмомъ, какъ будто защищая позиціи системы оффиціальнаго м'єщанства и не замъчая того, что истинныя его позиціи находятся на высотахъ «русскаго анархизма». И шуйца Достоевскаго-не въ его анархизмъ, а въ его непониманіи собственной точки зрѣнія.

Что касается Толстого, то и его народничество шестидесятыхъ годовъ мало по малу совершило кругъ развитія и отъ соціализма перешло къ анархизму. Но это былъ анархизмъ реалистическій, въ которомъ мы, несмотря на имена Бакунина, Крапоткина и самого Толстого, видимъ несомнънное contradictio in adjecto, какъ уже отмъчали выше; для сотканнаго изъ противоръчій міровоззрѣнія Толстого это и неудпвительно. Здёсь важно отмътить только тоть факть, что и Толстой, и Достоевскій составляють исключение въ группъ русской интеллигенции, соціалистической въ громадномъ своемъ большинствъ; но исключенія эти настолько громадныя, что принуждають на онзсматривать параллельно съ развитіемъ «русскаго с.: первый пдеть отъ заиндничивъ, черезъ Герцена, Чернышевскаго, Лаврова и Михайловскаго, къ соціалъ-революціонерамъ нашихъ дней; второй пдетъ отъ славянофиловъ черезъ Достоевскаго къ идеалистическому теченію начала ХХ-го въка; первый характеризуется реалистическимъ, второй — романтическимъ типомъ міропониманія. Громаднымъ общественнымъ значеніемъ перваго и небольшимъ вліяніемъ второго объясняется нашъ детальный разборъ системы русскаго соціализма и второстепенное мѣсто, отведенное русскому анархизму въ исторіи русской общественной мысли. Русское сознаніє въ XIX-мь вѣкѣ было, вообще говоря, реалистическимъ, а русская интеллигенція въ своемъ большинствѣ—соціалистической.

XX.

Однако, пора подводить итоги. Подводя ихъ, неминуемо коснуться вопроса: почему Толстой и Достоевскій очень часто паучаются параллельно, почему имена ихъ такъ неразрывно связаны одно съ другимъ? Съ самыхъ различныхъ точекъ зрвнія это писатели, взаимно-дополняющіе другъ друга; такъ, напримъръ, Михайловскій еще въ серединъ семидесятыхъ годовъ противопоставлялъ Толстого и Достоевскаго по ихъ принадлежности къ двумъ противоположнымъ психологическимъ типамъ; не такъ Д. Мережковскій посвятилъ противопоставленію Толстого и Достоевскаго цълое изслъдование, о которомъ мы упоминали выше. Въ цёломъ рядё другихъ характеристикъ п сопоставленій Толстой и Достоевскій обыкновенно не столько сопоставляются, сколько противопоставляются другъ другу. И совершенно справедливо, такъ какъ въ очень и очень многомъ они взаимпо дополняють другъ друга. Намъ, однако, важно было, напротивъ того, подчеркнуть общія черты ихъ, не противопоставить, а сопоставить Достоевскаго и Толстого, какъ безусловно согласныхъ между собой въ основномъ вопросъ пидивидуализма.

Къ восьмидесятымъ годамъ и Толстой, и Достоевскій пришли въ концѣ концовъ къ одному и тому же, даже до совпаденія мелочей. Оба пришли къ пдеѣ абсолютнаго самосовершенствованія, какъ къ основѣ всей нравственной и соціальной жизни, т. е., оба пришли къ этическому ультра-индивидуализму; оба пришли къ идеѣ виновности каждаго за всѣхъ (см., напр., Толстой, ХІІ, 460; у Достоевскаго мы это видѣли выше); оба проявили въ этомъ свою шуйцу и оба оставили міру грандіозное твореніе своихъ десницъ, которое вѣчно будетъ жить въ вѣкахъ и

народахъ. И въ Толстомъ, и въ Достоевскомъ достигъ громадной, небывалой силы этическій индивидуализмъ, получиль новое, неизмъримо глубокое выраженіе. Здъсь апогей этическаго индивидуализма въ исторіи русской (паже европейской) общественной мысли XIX-го въка.

Михайловскій — въ области соціологіи, Толстой и Достоевскій—въ этикъ: воть богатый вкладъ семидесятыхъ годовъ въ сокровищницу русской мысли, вотъ полное и законченное выражение семидесятыхъ годовъ. Индивидуализмъ Михайловскаго, съ одной стороны, Толстого и Достоевскаго -- съ другой, оказывается взаимно дополнительнымъ. Вспомнимъ, напримъръ, Ивана Карамавова, съ его «феноменальной», человъческой точкой зрѣнія въ вопросъ о безвинныхъ страданіяхъ: быть можетъ, эти страданія вполнъ понятны съ сверхъ-человъческой высоты, но на нее Иванъ отказывается подниматься и возвращаеть Господу Богу свой билеть на право входа. Ему дорога человъческая чочка зрънія, ему дорогь человъкъ, какъ цъль, а не какъ ступень къ высшей гармоніи. Намъ близко знакомо все это: почти въ тъхъ же самыхъ выраженіяхъ и въ то же самое время Михайловскій отрицаль право «высшей гармоніи» — общества, общественнаго организма, дълать изъ личности средство для своего процвътанія. Если мы сравнимъ, напримъръ, т. III, стр. 417 - 424 сочиненій Михайловскаго и т. XII, стр. 279 — 292 собр. сочиненій Достоевскаго, то увидимъ, какъ соціологическій индивидуализмъ перваго дополняетъ этическій индивидуализмъ второго, при тождественности исходныхъ точекъ зрѣнія.

Глубоко интересно и знаменательно то, что и Михайловскій, и Достоевскій подчеркивають субъективность своихь воззрѣній и вмѣняють себѣ ее за особую заслугу; оба они ведуть борьбу за индивидуальность, оба хотять стоять на человѣческой точкѣ зрѣнія. Михайловскій допускаеть, что теорія борьбы за индивидуальность истинна, что благо общественнаго организма тѣмъ больше, чѣмъ больше порабощены личности,—и всетаки онъ возвращаеть билеть на право входа въ эту высшую гармонію, хотя бы объективно общество было и цѣннѣе отдѣльнаго человѣка. Онъ борется здѣсь съ объективнымъ порядкомъ, съ «естественнымъ ходомъ вещей»; человѣкъ ему дороже всего. Иванъ

Карамазовъ также ставить субъективное «nicht!» къ своей теоріп борьбы за индивидуальность; объективная истина, губящая человъка, ему не нужна: онъ не отворачивается отъ нея, какъ сдёлалъ бы слабый духомъ, но сметаетъ ее прочь съ дороги. Онъ желаетъ остаться при своей субъективной истинь, хотя бы онг былг и не правг (это подчеркиваетъ самъ Достоевскій, XII, 291), и въ этомъ его этическій бунть мысли противь Бога, однозначный съ соціальнымъ бунтомъ Михайловскаго противъ общества. Оба они ставять свое субъективное nicht ко всему объективному и ко всему нуменальному, оба они возвращають билеть на право входа въ высшую гармонію - будь то рай земной или небесный, оба они ведуть борьбу за индивидуальность человъка; одинъ изъ нихъ въ области этической проводить то, что въ области соціальной испов'єдуеть другой.

Шире сопіологическаго индивидуализма Михайловскаго, глубже этическаго индивидуализма Толстого и Достоевскаго не пошелъ никто; семидесятые годы, такимъ образомъ, дали русской мысли апогей этическаго и соціологическаго индивидуализма, апогей, особенно рельефный между сумбурной предшествующей эпохой и мъщански

тусклой-последующей.

Кризисъ народничества. Златовратскій и Гл. Успенскій.

Ι.

Геропческая эпоха семидесятых в годовъ закончилась поединкомъ на жизнь и на смерть между правительствомь и народовольцами, между представителями системы оффиціальнаго мъщанства и русской интеллигенціей. Мы знаемъ, что борьба эта кончилась разгромомь Народной Воли и полнымъ пераженіемъ пителлигенціи въ ея борьбъ за политическую свободу и соціальный реформы; эпилогь этой борьбы относится приблизительно къ 1883 году, съ котораго ведетъ свое начало тусклая и сърая эпоха восьмидесятыхъ годовъ. Итакъ, псходъ борьбы былъ трагическій:—

Смолкии честные, доблестно павшіе!..

Цвътъ русской интеллигенціи быль сорвань и растоитань; богатырскія силы были погублены; лучшіе п сильные люди сошли со сцены; уцъльвице, за немногими исключеніями, замътно понизились этически; на первый иланъ вступили сърые, второстепенные люди, вскоръ занолнившіе собою всю жизнь, минуль въкъ богатырей, н—

...смъщались щашки, И полъзли изъ щелей Мошки да букашки...

Туть только выяснилось, какъ много мѣщанства таило въ себѣ русское «культурное» общество, заполненное сверху до назу «дикарями высшей культуры». И если мрачное тридцатилѣтіе 1825 — 1855 гг. было названо нами эпохой оффиціальнаго мѣщанства, то сѣрое десятилѣтіе восьмидесятыхъ годовъ по справедливости заслуживаетъ названія энохи мѣщанства общественнаго. Въ николаевскую эноху мѣщанство было оффиціальнымъ mot d'ordre, но оно было только именно оффиціальнымъ мѣщанствомъ: все русское общество, всѣ представители интеллигенціи — и западники и славянофилы, и Гоголь, и Лермонтовъ, и Бѣлинскій и Аксаковъ — всѣ были союзниками въ борьбѣ съ мѣщанствомъ. Теперь, въ восьмидесятыхъ годахъ передъ нами совершенно иная картина: въ правительственныхъ сферахъ снова провозглашается система оффиціальнаго мѣщанствъ и не встрѣчаеть досгойнаго отпора въ громадномъ большинствѣ «культурнаго» общества; общественное мѣщанство присоедитурнаго» общества; общественное мѣщанство присоеди-

няется къ мъщанству оффиціальному.

Долгіе годы русская интеллигенція вела борьбу съ мъщанствомъ во всъхъ его видахъ и проявленіяхъ. Казалось, что міщанству нанесень смертельный ударь, что оно погребено подъ собственными развалинами, что оно не воскреснеть болье; все это казалось... Но воть припли семидесятые годы — и одновременно съ ярко антимъщанскимъ покольніемъ этой эпохи народилось на Руси мъщанство сословное: «чумазый пришелъ». Это новое сословное мъщанство немедленно впитало въ себя всъ основпыя свойства мѣщанства этпческаго, которое переселилесь этажемъ ниже: Колупаевы и Разуваевы пріобръли на дешевив міровозгртніе Штольцевъ и Адуевыхъ. Но это было еще съ полбъды: главная бъда пришла съ другой стороны: русская интеллигенція, въ ея целомъ, ухватилась въ восьмидесятыхъ годахъ за эти адуевскіе идеалы; русская интеллигенція пришла къ мъщанству. Другими словами это значить: въ восьмидесятыхъ годахъ русская нателлигенція почти сходить на нъть, вымираетъ; ибо основнымъ отрицательнымъ признакомъ пителлигенцін, какъ мы знаемъ, является именно ея анти-мъщанство.

Русская интеллигенція таеть вь восьмидесятыхь годахь, «яко воскь оть лица огня»; часть ея представителей заселяеть собою Сибирь и Шлиссельбургь; часть пробуеть вести энергичную борьбу съ вакханаліей общественнооффиціальнаго м'ящанства — но тщетно; часть, покинувъ Россію, продолжаеть дальнійшее развитіе русской общественной мысли и впоследствии становится во главе русской интеллигенціи девяностыхъ годовъ. Но это впослъдствін; въ восьмидесятыхъ же годахъ ни одна изъ этихъ группъ интеллигенціи не можетъ извлечь общество изъ состоянія апатіи, смінившей бурную работу предшествовавшей эпохи. Первая группа-забыта, третьядалека, вторая — безсильна. Въ этой второй групит соединились немногіе уцълъвшіе соціалисты съ немногими продолжавшими борьбу либералами; послъ гибели «Отечественныхъ Записокъ» (1884 г.) соціалисты разсъиваются по либеральнымъ журналамъ, изъ которыхъ должны быть помянуты добромъ «Въстникъ Европы» и «Русская Мысль»; но голосъ ихъ звучить въ пустынъ. Шелгуновъ въ своихъ знаменитыхъ «Очеркахъ» энергично, но тщетно борется съ общей вакханаліей м'єщанства; Салтыковъ пишеть свои удивительныя по силъ «Пестрыя письма» и свои великолъпныя «Сказки»; Михайловскій продолжаєть свою прежнюю дъятельность... но встони-только искорки въ густомъ туманъ мъщанства восьиндесятыхъ годовъ.

На первый планъ выступаетъ «Недъля», со своей сугубо м'єщанской пропов'єдью; громадное распространеніе получаеть «Новое Время», роль котораго для восьмидесятыхъ годовъ такъ же характерна, какъ для эпохи оффиціальнаго мѣщанства была характерна «Сѣверная Пчела» Булгарина. Всюду выступаетъ на первое мъсто либо торжествующее, либо ползучее мъщанство (одно, впрочемъ, не противоръчить другому); почти вся русская интеллигенція того времени симвозилируется типомъ чеховскаго человъка въ футляръ. Ръзкіе протесты немногихъ противъ этого угнетающаго душу мъщанства заглушаются самодовольной проповёдью умёренности и аккуратности, постепенства и самосовершенствованія. Да, поистинъ эти печальной памяти восьмидесятые годы были эпохой общественнаго мющанства, въ тысячи разъ болъе ужасной, чъмъ эпоха мъщанства оффиціальнаго; тогда давило всъхъ и вся бюрократическое мъщанство, теперь къ этому присоединилось и мъщанство общественное, мъщанство русскаго «культурнаго» общества. Интеллигенція стушевывается, «культурное» общество выступаеть на первый планъ п пытается играть роль интеллигенціи. Здёсь какъ нельзя ярче выяснілась та разница между представителемъ интеллигенціи и «культурнымъ» человіткомъ, о которой намъ приходилось говорить раньше.

II.

Во главѣ «культурныхъ» людей, заполнившихъ и наполнившихъ собой эпоху общественнаго мъщанства, стали знакомые намъ лавристы семидесятыхъ годовъ. Одни изъ нихъ занялись мелкимъ культуртрегерствомъ, другіе сложили въ бездъйствін руки, чтобы переждать въ тиши время бълаго террора. Интереснъе всего то, что эти люди продолжали считать себя «солью вемли», лучшими представителями русской пнтеллигенціи-и ссылались приэтомъ на Лаврова, который якобы вполнт одобряетъ подобную тактику бездёйствія!... Эти представители теоріи умъренности, аккуратности и самосовершенствованія пробовали оправдать свою пассивную дряблость именемъ величайшаго русскаго революціоннаго борца, всегда энергичнаго, всегда активнаго и безстрашнаго! Недаромъ Лавровъ настойчиво отказывался отъ почетнаго названія лавриста... И, однако, лавристы были правы, оправдывая свою тактику именемъ Лаврова.

Дѣло въ томъ, что Лавровъ былъ безъ вины виновать: еще въ шестидесятыхъ годахъ онъ однажды, дъйствительно, высказался въ духъ «лавризма», выражая свое мнтніе о теоріи самосовершенствованія. Взглядъ Лаврова на эту теорію быль глубоко върный; онь ясно и опредъленно выразилъ его въ шестомъ изъ своихъ «Историческихъ Писемъ». Въ письмъ этомъ Лавровъ задается вопросомъ: «...долженъ ли человъкъ преимущественно работать надъ собою, ставя своей цълью личное совершенство, независимо отъ общественныхъ формъ, его окружающихъ, и участвуя въ общественной жизни лишь настолько, насколько ея формы вполнъ соотвътствуютъ его требованіямъ? Или онъ долженъ направить свою деятельность преимущественно на выработку изъ данныхъ общественныхъ формъ возможно лучшихъ результатовъ для настоящаго и будущаго, хотя бы формы, въ которыхъ ему приходится дъйствовать, были крайне неудовлетворительны, дъятельность его — весьма незначительна?

Проблема эта поставлена какъ будто въ предвидъніи эпохи восьмидесятыхъ годовъ!.. Что касается ръшеній этой проблемы, то Лавровъ видитъ, что крайнія ръшенія ся въ одну или другую сторону ведуть къ крайностямъ ультраиндивидуализма и анти-пидивидуализма: въ первомъ случать самосовершенствование ведеть къ общественному индифферентизму, во второмъ же случат «личность не только отказывается оть самосовершенствованія — она отказывается и отъ способности оцтнить, приносить ли она обществу пользу или вредъ, живетъ ли она въ немъ какъ производитель или какъ паразитъ». Лавровъ указываеть, что необходимъ синтезъ этихъ двухъ требованій; «какъ личность можетъ пормально развиться только во взаимодъйствін съ общественною жизнью, такъ полезная общественная деятельность можеть иметь место лишь при саморазвитии личностей, въ ней участвующихъ» («Ист. Письма», стр. 111—113).

Воть вполнъ ясное и вполнъ върное ръшеніе поставленной проблемы, тысно связанной съ проблемой индивидуализма: личное совершенствованіе при отрицаніи общественной дъятельности настолько недопустимо этически, насколько общественная работа недопустима соціологически внъ личнаго совершенствованія (послъднюю мыслы развиль Михайловскій своимъ знаменитымъ заявленіемъ, что соціологь должень быть этически высокоразвитой

личностью).

Но, къ сожалънію, Лавровъ не остановился на такомъ ръшеніи вопроса: изслъдуя условія производительности общественной дъятельности, онъ пришель къ заключенію, что бывають періоды, когда личность имъеть право затвориться въ общественномъ индифферентизмъ и личномъ самосовершенствованіи; онъ попытался установить предъль, за который личность не должна переступать въ своемъ участіи въ общественной жизни. «Тамъ, гдъ есть еще возможность оживленія, поднятія уровня общественныхъ интересовъ; тамь, гдъ есть еще надежда внести человъчность въ механизмъ жизни, разбудить мысль, укръпить убъжденіе, возбудить ненависть и отвращеніе къ обыден-

ному влу, - тамъ личность можеть и обязама стать въ ряды дъятелей общественнаго прогресса. Но если она сознала, что около нея пошлость силела ткань, которую одинокая личность прорвать не въ силахъ; если человъку необходимо содъйствіе другихъ для дъла, а эти другіе живутъ паразитами на тълъ общества, нисколько не думая объ его требованіяхъ; если многописаніе, формализмъ и низконоклонничество задавили въ чиновничествъ всякую мысль о государственной пользъ; если на ученьяхъ и парадахъ, изъ-за върнаго темпа и ровнаго фронта, военный совствив забыль, что онъ человткъ и гражданинъ; если общественное собраніе глухо ко всему, внъ личной вражды, личной связи и муравьиныхъ интересовъ; если зло растеть въ обществъ, а трусость и подлость закрываютъ передъ нимъ глаза или рабски апплодируютъ ему, - тогда разумному, сознательному, но безсильному дъятелю остается отойти отъ этого омута въ сторону... когда можетъ» (Ibid., стр. 114). Такое заявленіе было со стороны Лаврова крупной теоретической ошибкой; оно открывало двери апслогіц общественнаго индифферентизма въ любой періодъ реакціп. Такъ п случилось въ восьмидесятыхъ годахъ.

Или въ эту эпоху общественнаго м'вщанства, или никогда должна была найти свое примънение эта формула Лаврова, его программа общественнаго поведенія, ибо именно въ эту эпоху пошлость мъщанства сплела ткань. которую личность прорвать была не въ силахъ; именно въ эту эпоху бюрократическій формализмъ достигь своего апогея, а трусость и подлость апплодировали влу, растущему въ обществъ. Понятно теперь, почему часть восьмидесятниковъ жадно ухватилась за формулу Лаврова для оправданія своего общественнаго индифферентизма; понятно, почему навристы первые начали проповёдь постепенства, самосовершенствованія и теоріи маныхъ дёлъ. Лавровъ совътовалъ безсильному дъятелю отойти отъ омута общественно-оффиціальнаго мъщанства... когда можеть, восьмидесятники съ легкостью исполнили такой совътъ; не замъчая, что этимъ красноръчивымъ многоточіемъ Лавровъ самъ зачеркнуль свою формулу. Уже по одному этому было вполев неумвстно объявлять на встав

перекресткахъ, mit Tromben und Trompetten, съ пушечными выстрълами и барабаннымъ боемъ, что самъ Лавровъ проповъдуетъ такую «систему общественнаго мѣ-

щанства».

Это было тъмъ болье неумъстно, что самъ Лавровъ не только не отошелъ въ восьмидвентыхъ годахъ въ сторону, не сложилъ въ бездъйствіи руки, но энергичите, чемъ когда-либо, принялся за работу, за активное творчество, за упорную борьбу, не смущаясь ни усиливавшейся реакціей, ни летаргіей русскаго общества, ни таяніемъ группы интеллигенціи, ни ренегатствомъ своихъ сотрудниковъ. И этой упорной работой Лавровъ самъ призналь теоретическую ошибку своей формулы; онъ не мого отойти отъ того омута, въ борьбъ съ тиной котораго видълъ всю цъль своей жизни. И тъмъ ярче онъ и немногіе подобные ему люди блистають на темномъ фонъ восьмидесятыхъ годовъ. Въ эту эпоху общественнаго мъщанства, въ эпоху разгрома героическаго поколънія русской интеллигенціи семидесятыхъ годовъ, Лавровъ сталь во главъ «Въстника Народной Воли», пытавшагося (1883 — 1886 гг.) поддержать мало по малу угасавшее народовольческое движеніе. Попытка оказалась тщетной: русская интеллигенція семидесятыхъ годовъ, по выраженію Желябова, «жила на капиталь»; послъ разгрома Народной Воли въ 1883 г., русская интеллигенція была ранена смертельно. Новые борцы не шли на смёну старымъ, а изъ старыхъ одни стали ренегатами (Л. Тихоміровъ), другіе-провокаторами (Дегаевт.). Отдёльныя революціонныя группы интеллигенціи существовали во все время эпохи общественнаго мъщанства, старыя традиціи жили среди немногихъ представителей русской интеллигенціи, -но вся масса русскаго «культурнаго» общества все глубже и глубже уходила въ болото мъщанства, въ идеалы добродътельнаго чиновничества, умъренности, аккуратности и благоразумія. Эпоха общественнаго м'єщанства — эпоха разложенія русской интеллигенціи.

Одновременно съ этимъ происходило и разложение общественныхъ идеаловъ семидесятыхъ годовъ— идеаловъ русскаго соціализма, народничества. Критическое и пессимистическое народничество Михайловскаго было завер-

шеніемъ теорій русскаго соціализма, развивавшихся ранве Герценомъ, Чернышевскимъ и Лавровымъ; мы видъли, что Михайловскій отчетливо сознаваль, что жизнь идеть не по той дорогъ, которую считало желательной народничество. Особый соціально-экономическій путь развитія Россіп быль для народничества желательной возможностью; но народники видели, что возможность эта «убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика уръзываетъ ее безпощадно». Восьмидесятые годы и были пменно временемъ окончательной гибели утопій стараго народничества, эпохой разложенія общины, гибели артели, смерти кустарничества. И сами народники-въ этомъ была ихъ трагедія -- воочію видёли постепенное урёзываніе жизнью ихъ идеаловъ Замьчательный пій изъ представителей народничества въ художественной литературъ, Глёбъ Успенскій, явился яркимъ выразителемъ настроеній русской интеллигенціп, принужденной быть молчаливой свидътельницей разложенія своихъ завътныхъ идеаловъ. За этими настроеніями русской интеллигенціи и за этимъ разложеніемъ народническихъ идеаловъ мы проследимъ именно по произведеніямъ сперва Златовратскаго, а затъмъ Глёба Успенскаго, который въ восьмидесятыхъ годахъ смёло и открыто высказаль то, въ чемъ боялось признаться самимъ себъ большинство народниковъ.

III.

Златовратскій появился на литературной сценѣ въ самомъ началѣ семидесятыхъ годовъ. Это было, мы внаемъ, время расцвѣта народничества, какъ соціальной (а именно соціалистической) теоріи и, болѣе того, какъ цѣльнаго и широкаго философско-историческаго міровозэрѣнія—главнымъ образомъ, въ трудахъ Лаврова и Михайловскаго. Народничество это, знаемъ мы, было критическимъ, въ отличіе отъ того догматическаго народничества, которое въ это время имѣло также многочисленныхъ сторонниковъ, которое проявлялось и въ статьяхъ П. Ч. (въ «Недѣлѣ», 1875 г.), и въ «почвенничествѣ» Достоевскаго, и въ произведеніяхъ Толстого. Догматическіе народники находились подъ сильнымъ вліяніемъ славянофильства и

отничались самымъ необоснованнымъ оптимизмомъ своихъ взглядахъ на будущее русскаго народа и на возможность особаго пути экономическаго развитія Россіи: они «върпли» въ общину, въ артель и искали въ кустаръ противоядія сть пугающей ихъ фабрики, отъ грядущаго капитализма; они доказывали (г. В. Б., въ 1881 г.), что капитализмъ въ Россіи осужденъ на гибель и не въ состояніи развиться, и т. п. Критическое народничество было, папротивъ, пессимистическамъ: оно видъло, что артель мало по малу разлагается, что кустаря вытёсняеть фабрика; болье того, въ самой общинъ, къ которой догматическіе и славянофильствующіе народники относились съ идолопоклонствомъ, критические народники ясно видъли и безпощадно вскрывали темныя черты и отрицательныя стороны, являющіяся съ одной стороны-причинами, а съ другой — следствіями процесса разложенія общины подъ напоромъ капитализма.

Этотъ пессимизмъ шелъ crescendo отъ начала семидесятыхъ до начала девяностыхъ годовъ — до появленія русскаго марксизма. Именно эти два десятилътія являются апогеемъ творческой дъятельности Златовратскаго, особенно интенсивной на рубежт между семидесятыми и восьмидесятыми годами; нътъ пикакого сомнънія, что цъвныя наблюденія Златовратскаго и, особенно, Гл. Успенскаго надъ артельными и общинными «устоями», преломленныя сквозь призму правдиваго художественнаго творчества, во многомъ уясняли теоретическому народничеству истинное положение вещей въ деревнъ, уясняли въ досстан разъ пагляднее и неопровержимее сухой стати-. . . . ской цифры, въ то время еще пребывавшей въ саы пачаточномъ состоянін. II, конечно, наблюденія, отразившіяся въ художественномъ творчествъ Златовратскаго, не могли способствовать уменьшению пессимистическаго настроенія въ теоретическомъ народничествъ...

Воть, напримъръ, два очерка Златовратскаго, одинъ начала семидесятыхъ, другой конца восьмидесятыхъ годовъ—«Въ артели» и «Городъ рабочихъ». Въ первомъ изъ нихъ подчеркивается несомитнный фактъ распада артели:

«—... такъ вотъ отъ насъ народъ-то и уходитъ...

Плохо артели... (это призвание одного изъ членовъ артели).

- Отчего-жъ такъ? Дъло, кажись, хорошее, выгодное, Божье дъло...
- Вотъ поди-жъ и поразмысли! Народъ, что-ли, другою жизнью сбивается, кто-е въдаетъ! Теперь нашу артель хоша совсъмъ рушь... Только слава!.. Времена ужъ не тъ стали»... (I, 127) 1).

Времена стали не тъ — это, конечно, вполнъ върное, но въ то же время и вполнъ неопредъленное объяснение причины распада артели. Во второмъ изъ указанныхъ очерковъ Златовратскій пытается выяснить подобный же вопросъ (о причинахъ гибели кустаря) съ нъсколькихъ различныхъ точекъ зрънія. По прежнему онъ словами вполнъ компетентнаго лица устанавливаетъ тотъ несомитьный фактъ, что—

- «-...всты намъ ногибель.
- Откуда? Кто такой насъ погубить? (спрашиваеть другой, не желающій «погибать» и оптимистично настроенный кустарь).
 - Фабрикантъ.
 - Ну, ну!.. Поди ты...
 - И я, скупщикъ, погибну и все наше населеніе.
- Ну, пошель, пошель!.. Десять тысячь народу погибнеть!
- Погибнеть! Развѣ не видишь? Малый ребенокъ, что-ли? Вотъ за тридцать верстъ отъ насъ какая фабрика рика завелась, а?.. Еще такая фабрика и вотъ конецъ и мнѣ, и тебѣ.... и всѣмъ этимъ кустарямъ, всѣмъ одна расцѣнка будетъ: ни дна, ни покрышки» (I, 255).

Такъ разсуждаеть «умница», «министръ» (какъ его рекомендуеть собестренкъ), который «самъ изъ кустарей вышелъ». Другой изъ собестренковъ убъжденъ, что фабрика сельскому кустарю не страшна: «вы дайте намъ только вздоху, дайте намъ городовое положение (мъсто дъйствия—большое село), и тогда посмотрите, какъ мы процвътемъ!».. Третій, очевидно, не считаетъ это лъкарство дъйствительнымъ средствомъ отъ болъзни и предлагаетъ свой, яко-бы радикальный рецептъ для выздоровле-

¹⁾ Цитаты по третьему изданію собранія сочиненій Златовратскаго (1897 г.).

нія кустарной артели: стоить только приспособить къ

дёлу «лучшій народъ»...

— «Воть дёло было!..—вспоминаеть онь про одну изъ процвётавшихь кустарныхь артелей:—ахъ!.. Малина дёло, одно слово!.. То есть, такое дёло, что, кажись, нашему благополучію и конца краю видать не было!..

— А воть не пошло, — замътиль Поповъ, — не пошла

машина-то, не принялась.

— Не пошла, върно, не принялась, братецт! Вотъ же и поди! И Богъ ее знаеть, отчего! А ужъ такое дъло!..

— ...Однако, вотъ артели-то нътъ, — замътилъ По-

повъ, -- горячитесь, не горячитесь.

— Нѣ-ѣтъ. Конечно, нѣтъ, когда лучшій народъ раскидають: одного сюда, другого туда... Конечно, нѣтъ! Вѣдь, живые люди... нынче одного выдернутъ, завтра—другого... Жизнь проще, чѣмъ вы думаете... Тутъ раз-

гадка простая»... (I, 258).

Однимъ словомъ, вся причина гибели артели и кустаря въ томъ, что «всёхъ хорошихъ людей разсовали, а мошенниковь наставили ... По всей в роятности, это нъсколько туманное объяснение надо понимать въ томъ смыслъ, что кустарная артель, о которой идеть ръчь, подверглась, мягко выражаясь, нъкоторому «административному воздействію», все было бы исправлено и налажено, если бы можно было избавиться отъ этого губящаго артель давленія администраціи и приспособить къ д'влу «лучшій народъ». Мы увидимь нъсколько ниже, что Гл. Успенскій въ этомъ же видёль и спасеніе общины, если бы было дозволено внесеніе въ общину свъжихъ интеллигентныхъ силъ. Но, съ одной стороны, было очевидно, что это «если-бы» пока совстыв невыполнимо; а съ другой стороны-не было увъренности, что и выполненіе этого «если-бы» окажется радикальнымъ, воскрешающимъ средствомъ. По крайней мъръ, самъ Златовратскій видить, что отм'єченныя выше «простыя разгадки» совершенно не ръшають вопроса, а потому онъ чувствуетъ себя въ заколдованномъ кругу и заявляетъ: «...я не вижу даже проводника, который бы вывель изъ него». Ему остается только утъщать читателей и себя неопредъленно - успокоптельными утвержденіями, что-де «гдѣ есть живые люди, тамъ будеть и жизнь», но, въ общемъ, ему приходится резюмировать свои взгляды грустнымъ каламбуромъ: «дѣла не хороши, а люди хороши»...

Этоть «грустный каламбурь» является первымъ резюме итоговъ художественнаго народничества, въ его мучительныхъ поискахъ твердыхъ устоевъ. Дѣла не хороши, а люди хороши; но бѣда въ томъ, что и «хорошіе» люди уходятъ одинъ за другимъ, то изъ-за административнаго воздѣйствія, то вслѣдствіе фатальнаго разрушительнаго процесса хода времени: хорошее старое—заявляетъ Златовратскій—вымираетъ, а такое-же новое—не нарождается.

Вотъ, напримъръ, типъ хорошаго, «душевнаго» старичка-крестьянина: «...это — типъ уже вымирающій... Онъ уже рёдокъ въ подгородныхъ деревняхъ, хотя въ глуши встръчается еще во всей неприкосновенности. Чъмъ больше вы съ нимъ внакомитесь, темъ более ижжныя чувства начинаете питать къ нему, но, вмёсть съ темъ, въ вашу душу забирается какая-то досадливая грусть. Неужели же суровый законъ борьбы за существование всевластно царить въ человъчествъ? Неужели человъкъ не пробовалъ противостать его ужасному, анти-гуманному проявленію?» Этоть рядь безнадежныхь вопросовь мы находимъ у Златовратского въ разсказѣ «Авраамъ» (1879 г.); въ другомъ разсказъ той же эпохи («Деревенскій король Лиръ», 1880 г.) мы встрътимся со слъдующимъ признаніемъ автора на эту же тему: «я почему-то чувствую особое предрасположение къ этимъ подгнивающимъ столпамъ... Чувствуешь, что вотъ вымрутъ они, эти стагожилые мужички, и вмёстё съ ними уйдетъ въ невозвратную историческую тьму что-то такое, чего, можетъ быть, уже не увидишь, не встрътишь больше, и какъ-то тоскливо сжимается сердце»... Эти «старожилые мужички» символизирують для критическаго народничества цълый рядъ такихъ дорогихъ для него явленій, какъ артель, кустаря, общину; главная трагедія здісь въ томъ, что все идущее на смъну идеаламъ старожилаго мужичка не имъетъ доступа къ сердцу народника, скорбящаго и тоскующаго о гибели дъйствительно ценныхъ общественныхъ формъ и идеаловъ. «Тоска эта,оговаривается самъ Златовратскій, -...вовсе не знаменуетъ

отсутствія вёры въ новыхъ «сыновъ народа»..., но настоящее этихъ «сыновъ» — такое хаотическое, смутное, за которымъ будущее представляется еще смутнёе, еще неопредёленнёе. А тутъ, въ этихъ старожилыхъ мужичкахъ, посмотрите, какъ все окаменёло, застыло въ опредёленныхъ очертаніяхъ и формахъ! Они ясны, какъ кнпга, въ которой вы четко читаете эпическія страницы вёковой

борьбы»...

Итакъ, «люди хороши» -- върнъе сказать: быми хороши; «дъла плохи» — надо прибавить: и будута плохи. Въ чемъ искать спасенія отъ этого угнетающаго душу вывода? Народникъ той эпохи шелъ пскать его въ народъ, забирался въ медвъжій уголъ Россіи и жадно старался найти въ народныхъ идеалахъ тъ «устои», которые будуть въ состояніи выдержать напоръ капиталистическаго половодья. Эти устои догматическіе народники, конечно, нахочили въ общини, которую расписывали встип радужными красками своей фантазіи и представляли идеаломъ экономическаго строя и чуть-ли не образцомъ этическаго устроенія жизни ея член въ. Художественному народничеству выпало на долю трезво и прямо посмотръть въ глаза дъйствительности; первыми и одновременно это сдълали именно Гл. Успенскій и Златовратскій: первыйвъ своихъ знаменитыхъ очеркахъ «Изъ деревенскаго дневника» (1877—1878 г.), «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ» (1880 г.) и «Власть земли» (1882 г.), а второй — въ не менъе извъстныхъ «Очеркахъ крестьянской общины» (1878—1879 гг.) и въ романъ «Устои» (1878--1882 rr.).

IV.

Въ полу-беллетристическихъ, полу-публицистическихъ «Очеркахъ крестьянской общины», Златовратскій начинаеть съ того, что категорически возстаеть противъ подведенія догматическими народниками всей общины подъодну общую черту, противъ суздальскаго раскращиванія ея сплошь одними радужными тонами. Современная община,—заявляль тогда (въ 1878 г.) Златовратскій,— «представляеть собою довольно крайнія степени экономи-

ческаго неравенства»... «Вы не увидите въ новой деревнъ того единообразія «деревенских» устоевь», которое чаще бывало въ деревнъ старой, захолустной»... Въ современной деревнъ наблюдатель, по заявленію Златовратскаго, «какъ въ фокусъ, можеть видъть борьбу старыхъ традицій деревни съ новыми вѣяніями. Здѣсь для него еще ясние видно, какъ живучи въ деревни ея излюбленные, исконные идеалы, какъ устойчивы и неподатливы они, и, въ то же время, какъ сила иныхъ вліяній медленнымъ ядомъ подбирается къ самому грдцу общины»... Въ этихъ словахъ-высшая точка тимизма критическаго народничества: признаніе устойч ости общинныхъ идеадовъ; но тутъ же и горькое изнаніе того факта, что идеалы эти съ каждымъ днемъ подвигаются къ погибели, что ихъ разъбдаетъ скрытый ядъ капиталистическихъ отношеній въ деревнѣ. «Убьеть ли этоть ядъ общину?вопрошаетъ Златовратскій; -или же община рышится на ампутацію и съ корнемъ вырветь развыдающую ее гангрену?» (II, 287). Обратимъ внимание на подчеркнутыя нами только-что слова и отмътимъ, что они лишены всякаго реальнаго значенія. Како могла бы община произвести такую ампутацію? «Quomodo? и въ особенности -quibus auxiliis?» -- говоря словами Салтыкова? Въ чемъ таковая ампутація должна была бы состоять?--Быть можеть, въ высылкъ всъхъ кулаковъ и богатъевъ по сельскимъ приговорамъ въ Спбирь?... Мы видимъ, что попытка самоутъщения не имъла въ народничествъ твердой почвы, спасти общину отъ разложенія могла бы только твердая и цёлесообразная экономическая политика, а для проведенія таковой народники должны были стать у кормила государственнаго правленія... Поэтому раньше радикальной политической и соціальной революціи народничеству нечего было интать какихъ бы то ни было надеждъ на возможность какой бы то ни было «ампутаціи» больныхъ мъстъ общиннаго уклада.

Златовратскій, конечно, понималь, что россійская дѣйствительность той эпохи не позволяла предаваться сладостнымъ мечтаніямъ объ «ампутаціи»; онъ принужденъ быль поэтому ограничиться констатированіемъ факта, что «настоящая эпоха—эпоха критическая, переходная въ жизни русскато мужика, эпоха, когда идетъ борьба за преобладаніе между старыми градиціями и новыми вѣяніями, между общиной и крайнимъ индивидуализмомъ»... Когда-то, еще въ началъ шестидесятыхъ годовъ, Тургеневъ въ полемикъ съ Герценомъ писалъ ему, что русскій мужикъ носпть зародыши такой буржуазіп въ дубленомъ тулунь, что--что твои нъмцы! И теперь Златовратскій подтверждаеть, что, при побъдъ «индивидуализма», русскій общинникъ-мужикъ «въ охраненіи основъ индивидуальной собственности явится такимъ «столномъ», что утреть нось всякому нъмцу»... (II, 324). А русская дъйствительность той эпохи именно вела, какъ это выяснялъ Златовратскій, къ побълъ такого «крайняго пидивидуализма», или, говоря конкретнте, къ торжеству «хознаственнаго мужичка» (см. объ этомъ II, 361), который, по наблюденіямъ Златовратскаго, «освобождаеть народъ отъ земли», выключая изъ общины неплательщиковъ и обращая, во славу раціональнаго хозяйства, общину въ кучку міробдовъ, царящихъ падъ «міромъ»... Съ такимъ процессомъ, по мнѣнію Златовратскаго, слѣдуеть бороться, поскольку человъкъ можеть измънить ходъ законовъ развитія, хотя бы и при втроятности пораженія; по крайней мъръ, онъ ясно высказываеть свое сочувствіе къ основному положению теоретического народничества о первенств' народнаго благосостоянія надъ національнымъ богатствомъ. «Я обязанъ высказать прямо, - заявляетъ Златовратскій, — что отказываюсь защищать интересы современной прогрессирующей общины «хозяйственныхъ мужичковъ» съ точки зрънія только раціональнаго удобренія... Вы говорите: если не интересы сельскаго хозяйства - община должна быть уничтожена. Я говорю: если не интересы общиннаго идеала-должны быть изм'тнены всъ существующія условія общинной жизни... Сознайтесь, господа, что тутъ есть существенная разница»... (II, 257). Это почти буквально слова Чернышевскаго; настойчиво подчеркиваемъ этотъ фактъ, такъ какъ ниже мы подробнъе остановимся на зависимости художественнаго народничества отъ народничества теоретическаго.

«...Должны быть (во имя интересовъ общиннаго идеала) измънены всъ существующія условія общинной жизни»—

воть требованіе, выставленное впередь Златовратскимъпублицистомъ; а художникъ-Златовратскій безь труда
вскрываетъ всю неисполнимость требованій своего alter
едо,—главнымъ образомъ, въ своемъ знаменитомъ романъ
«Устои», въ которомъ на живыхъ типахъ мы знакомимся
съ процессомъ разложенія общины.

Въ этомъ своемъ романъ Златовратскій яркими образами и живыми тинами обрисовываетъ дифференціацію общины, по крайней мъръ, на три различныя соціальноэкономическія группы; это, во-первыхъ, «пьяницы», деревенскій пролетаріать и гольтепа, иногда ведущая упорную и чуть-ли не идейную борьбу съ двумя другими группами — съ «хозяйными мужиками, во вторыхъ, и съ «міробдами», въ третьихъ (II, 224). Міробдовъ сравнительно немного, но они держать въ экономической кабалъ почти всю общину; хозяйственныхъ мужичковъ, представленныхъ типомъ Пимана, больше, но они находятся въ состояній неустойчиваго равнов'єсія: при удачьстановятся міробдами, при неудачь — деревенской гольтепой; сыпъ Ипмана, Борисъ, прошелъ последовательно объ эти стадін. Эту довольно грубую схему Златовратскій дополняетъ указаніемъ еще двухъ группъ, значеніе которыхъ основано не на экономической, а на этической почвъ: съ одной стороны, это «романтики», олицетверенные въ тпит Мина и въ его сынт Янт, въ которыхъ воплощена высшая этическая ценость народнаго духа; съ другой стороны, это нарождающіеся «умственные мужики», одинъ изъ которыхъ, Петръ, явияется главнымъ героемъ романа, но героемъ отрицательнаго значенія. Последняя группа очерчена Златовратскимъ менбе всего ясно и менбе другихъ удачно, такъ какъ онъ помелалъ разграничнъ типы «умственнаго мужика» и «міройда», между тёмь, какъ всякій появившійся въ деревнѣ «умственный мужикъ» сейчасъ же обращался въ міробда, кулака, кабатчика или трактирщика.

Какъ же относится къ этимъ обрисованнымъ имъ группамъ Златовратскій? Передъ нами «романтики» Мины, «хозяйственные», тяжелые, Инманы, «умственные» міро- так Петры—за къмъ же изъ нихъ ближайшее будущее? Конечно, всъ симиатіи Златовратскаго лежатъ на сторонъ

«романтика» Мина, но въ то же самое время онъ воочію видить, какъ «умственные» кулаки и міротды делаются въ общинъ все сильнъе и сильнъе. Въ этомъ, какъ мы уже знаемъ, была глубокая трагедія народничества, и неудивительно, что отчаявшійся въ поб'йд'й своихъ пдеаловъ народникъ иногда хватался за самое легковъсное утъщеніе. «Кулакамъ-міровдамъ» не жить, - утвинаетъ автора п читателей романтикъ Минъ: -- а не жить имъ потому, что у нихъ сытости нъть!.. Коли сытости нъть- шабашъ, пропало!.. У него одна алчба, жадность, гладъ душевный п тълесный... Чъмъ больше жертвъ, тъмъ больше утроба просить... А отъ чего эта алчба? Отъ неправоты! Правоты въ своемъ положени не видитъ. . Коли кто правоту чувствуеть свою, онъ всегда и сытость чувствуеть, у него есть предъль, у него довольство въ себъ есть... Вотъ, милые, гдъ ихъ гибель ожидаетъ»... (II, 151). Это могъ говорить Минъ, въ это могли върить догматические народники, въ своемъ сліномъ оптимизмів (интересно сравнить эти слова Мина съ надеждами старца Зосимы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» на способъ примиренія соціальныхъ антиномій въ Россіпі...), но могъ ли удовлетвориться такимъ эфемернымъ утъшеніемъ Златовратскій, примыкавшій къ народничеству критическому? Конечно, нѣтъ; онъ ясно впдълъ совершенную непереводимость утъшеній «романтика» Мина на реальную экономическую почву, а потому, въ поискахъ за точкой оперы, впадалъ въ противоположную крайность, пробоваль найти утъшение «съ другого конца» и нытался опереться на того же самаго кулака-мірожда, пдеализпруя его подъ видомъ «умственнаго» мужика, съ якобы неизмѣнно присущимъ послъднему качествомъ — «берьбой за самобытное право мужицкой личности»... (II, 257). Отсюда уже два шага до знаменитаго утвержденія Петра Струве (въ періодъ его марксизма), что деревенскій кулакъ-міровдъ представляеть собою «выстій типъ человіческой личности», страдающей отъ непризнанія своихъ правъ... Видеть въ деревенскомъ міровдв драму «возмущенной чести», —выражаясь терминами Михайловскаго, -- вотъ, поистинт, удивительная аберрація зрвнія!.. II во сколько разъ болве правъ былъ Гл. Успенскій, когда вложиль эту траму «возмущенной чести» въ душу Михаила Иваныча и простого, съраго мужика (изъ «Разворенья»; вспомните извъстную сцену въ вагонъ и «грозное» приказаніе мужика буфетчику— «бутенброту!»)...

Поучительное зрълище: пессимистъ-народникъ Златовратскій, въ понскахъ выхода изъ пессимизма, протягиваеть руку онтимисту-марксисту Струве, и оба они, седиными усты и единемь сердцемъ» возносять хвалу и апологируютъ кулачество!.. Это показываетъ, какъ жадно народинчество искало выхода изъ пессимизма; но тутъ же надо указать, что у Златовратского эта идеализація міровда и превращение его въ «умственнаго мужика» было только мичолетной ошибкой потерявшаго дорогу публициста; художникъ въ немъ скоро беретъ верхъ и вскрываеть подоплеку пдеаловъ «умственнаго» Петра: «освобожденіе народа оть земли» въ пользу «хозяйственныхъ мужиковъ» (II, 261). Попутно Златовратскій вскрываеть цёлый рядъ отрицательныхъ сторонъ общины, «міра» (см. «Строгій», первая глава второй части романа), такъ что, въ концъ концовъ, и авторъ, и читатель остаются безъ точки опоры: «устои» существують не для нихъ... Вся русская интеллигенція, нь конців концовъ, оказывается висящей въ воздухъ гдъ-то между небомъ и землей, и безъ руля и безъ вътрилъ безпомощно плаваетъ въ пдеологическомъ туманъ...

V.

Этому безпомощному положенію русской интеллигенціи гой эпохи и Златовратскій, и Гл. Успенскій посвятили немало страниць. Община разлагается, въковычные, дыдовскіе «устоп» ползуть врозь; единственное спасеніе — неоднократно заявляль, кака увидимь, Гл. Успенскій, — это внесеніе вы деревню интеллигенціей свыта и знанія (буде сіе будеть дозволено попечительнымь правительствомь)... Допустимь на время, что всы внышія преграды для «сліянія» интеллигенцій сы народомы благополучно устранены и посмотримь, руководствуясь Златовратскимь, насколько это подвигаеть дыло впередь.

Въ повъсти «Скиталецъ» (1881—84 гг.) мы находимъ типъ такого интеллигента, мечтающаго о сліяніи съ на-

родомъ. Повъсть начинается яркой картиной одновременнаго «прітада въ деревню», въ родныя міста Русанова (вышеупомянутый интеллигенть) и Артамона Кабанова, сына мъстнаго кулака и кулака собственной персоной (III, 135-153). Русановъ отдалъ крестьянамъ всю свою землю, за что и дождался отъ крестьянъ только одного недовърія: во-первыхъ, — «нътъ-ли какого подвоха?» а во-вторыхъ, — «землю отдалъ! Да какъ бы онъ ее не отдалъ? Приказали, такъ и отдалъ!.. Чать, онъ за энто жалованье получаеть!..» Въ то же время Кабановъ, торгующій «въ Адесть», встръчается односельчанами съ восторгомъ и почетомъ: «теперь намъ, мужикамъ, такіе люди нужны-не все за барскимъ умомъ жить... За барскимъ-то умомъ жить дорогонько, дътушки!..» Это трагическое неумъніе распознать своихъ друзей и враговъ, свойственное народу, доводить Русанова до отчаннія, почти до самоубійства. Его спасаеть одна случайно пришедшая въ голову мысль.., Мысль ясная, глубокая, страстная охватила его мозгъ... «Еще одно усиліе — и все кончено!.. Отрясти последній пракъ съ своихъ ногъ и расплытися, раствориться, растаять въ могучемъ океанъ массы, въ великомъ, общемъ, массовомъ сознаніи»...

Итакъ, вотъ спасеніе — надо «опроститься» и «идти въ народъ», — пначе сліяніе съ народомъ невозможно, иначе «не сольешься съ вами, а сопьешься», какъ говоритъ одинъ изъ героевъ Гл. Успенскаго. Всъ эти интеллигенты были «народниками безъ народа», по м'єткому выраженію Златовратскаго (III, 214); интеллигенція пробивала грудью стъну, запирающую пароду дорогу, а народъ... народъ безмолствовалъ, — и то въ лучшемъ случат; въ худшемъ онъ ръшительно выступалъ противъ интеллигенціи (см. разсказы Гл. Успенскаго «На травий» и «Богъ гръхамъ теринтъ». Прійдя въ отчаяніе, народники безт народа ухватились за «опрощеніе» (Русановъ въ этомъ отношеніи счень типиченъ); отсюда, между прочимъ, громадный успѣхъ «толстовства» въ 30-хъ годахъ, и именно еге «опростительной» программы. Гора не шла къ Магомету, и Магометъ самъ пошелъ къ горъ; народъ не былъ въ состояніи прійти къ пителлигенціи, и пителлигенція сама пошла вт народъ. «Не микутной экзальтированной выходкой было это «хожденіе», не результатомъ «юношескихъ и незрѣлыхъ теорій», — отмфчаетъ внослѣдствіи самъ Русановъ; — оно было стихійнымъ, безсознательнымъ, эпидемическимъ влеченіемъ, результатомъ причинъ, для насъ теперь пока еще не выясненныхъ»... Для насъ теперь многія изъ этихъ причинъ, какъ мы видѣли, уже вполнѣ выяснены; осталось изслѣдовать и слѣдствія этого стихійнаго движенія въ народнической интеллигенціи конца семидесятыхъ п начала восьмидесятыхъ годовъ.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что «опрощеніе» и «хожденіе въ народъ» восьмидесятниковъ не имѣло почти ничего общаго (кромъ витшней формы) со знаменитымъ «хожденіемъ въ народъ» въ началѣ семидесятыхъ годовъ. Для семидесятниковъ опрощение было только средствомъ, для восьмидесятниковъ оно стало самодовлѣющей цълью; хожденіе въ народъ было предпринято семидесятниками съ цълью обществ энной и соціально-политической, восьмидесятниками - съ цълью личной и этической; семидесятники шли въ народъ для борьбы за его питересы, а не за его мити (и въ этомъ отношени были представителями критического народничества), восьмидесятники употребляли вев усилія, чтобы, подавивъ всю личность, воспринять мити народа и «расилыться, раствориться, растаять» въ народъ (толстовство было типичнъйшимъ проявленіемъ этого вырождающагося народничества).

Конечно, ни Златовратскій, ни Гл. Успенскій не могли раздёлять идеаловъ этого народничества восьмидесятыхъ годовъ; и Русановъ, поэтому же, не удержался до конца въ своемъ «опрощеніи»: онъ опростился, вошелъ въ народъ, но вскорѣ ушелъ изъ него въ прежиюю среду, съ прежнимъ нерѣшеннымъ вопросомъ въ душѣ. Рѣшеніе «раствориться и растаять» въ народной массѣ оказалось ничего не рѣшающимъ, и Русанову, въ концѣ концовъ, снова пришлось взяться за попытки внесенія свѣта въ народную среду прежнимъ, испробованнымъ путемъ. Этотъ испробованный путь очерченъ Златовратскимъ въ эпилогѣ романа «Устои», гдѣ мы имѣемъ исповѣдъ умирающей Лизы Дрекаловой, народной учительвицы того медвѣжьяго угла, гдѣ живутъ всѣ эти Петры, Циманы и Мины.

Въ типъ Ливы Златовратскій дълаетъ последнюю попытку найти точку опоры въ расползающихся народныхъ устояхъ; онъ ищеть въ крестьянской интеллигенціи, въ «романтикахъ» Минахъ, находя въ нихъ въ то же время и единственно спосебную для сліянія съ разночинной интеллигенціей группу народа. Наша пнтеллигенція, по Златовратскому, почти силошь «романтична» (см по этому поводу типъ Морозова въ «Золотыхъ сердцахъ»); въ комъ же и искать ей поэтому отзвука и сочувствія, какъ не въ романтикахъ Минахъ? Что такое этотъ «романтизмъ», -Златовратскій нигдѣ не опредѣляеть съ достаточной ясностью; а Лиза, такъ та даже откровенно признаетъ, что это неопредълимо, не будучи, впрочемъ, нисколько тъмъ обезкуражена: «что изъ того, что я теперь не могу опредълить это? Это даже лучше: значить, оно такъ глубоко»... Всетаки она опредъляетъ этотъ «романтизмъ» Мина, какъ «безконечную, неизживаемую въру въ правду жизни, въ то, что въ этой жизни должна быть правда, и что только мы ее не умѣемъ найти»... Конечно, въра - вещь хорошая; но невольно возникаеть вопросъ: что окажется болье реальнымъ факторомъ въ жизни общинынеизживаемая въра мужика-романтика или неизсякаемая мошна кулака-реалиста?.. Отвътъ на этогъ вопросъ слишкомъ очевиденъ, а петому является вполнъ понятнымъ п глубоко искренно звучать отчаянныя вопрошанія Лизы: «что же это такое? Куда же стремится этотъ стихійный океань? Какой смысль для меня въ «устояхъ», если имъ не нужна любовь, мысль, самоножертвованіе, если они встьми не дають смысла жизни, полной и цельной, если любовь, мысль и самоножертвование не могутъ жить съ ними, какъ единое, цъльное, нераздълимое?»... (II, 258-263).

Вотъ печальные итоги художественнаго народничества Златовратскаго (и въ то же время художественные итоги народничества).

Артели разлагаются; кустари обречены на погибель; хорошее старое вымираеть, а такое же новое не нарождается; наконець, общинные устои медленно, но върно идуть къ разрушенію, а попытки интеллигенціи такъ пли иначе воспренятствовать этому процессу разложенія обречены на фатальную неудачу... Впрочемъ, въ особенно

горькія минуты можно утёшаться тёмъ, что община можеть еще «рёшиться на ампутацію» своихъ отрицательныхъ сторонъ, или тёмъ, что все уладится само собой, и кулаки сами погибнуть отъ недостатка «сытости»... Всёмъ этимъ можно утёшаться, равно какъ можно искать спасенія въ опрощеніи, заранёе зная, однако, что во всемъ этомъ нёть спасенія, и что такія утёшенія являются воздушными замками, строить которые никому невозбранно...

VII.

У Гл. Успенскаго мы найдемъ, во-первыхъ, почти все, отмъченное нами выше у Златовратскаго, и, во-вторыхъ. сверхъ того, еще въ высшей степени ценныя признанія критическаго народника, трезво и безстрашно смотрящаго въ глаза дъйствительности. Къ изучению народной жизни Успенскій подошель вплотную одновременно съ Златовратскимъ, въ серединъ семидесятыхъ годовъ; въ началъ своей литературной делтельности, въ шестидесятыхъ годахъ, онъ обращалъ свое вниманіе, главнымъ образомъ, на фактъ разрушенія старыхъ, дореформенныхъ устоевъ обывательской жизни и на медленное зарождение какихъ-то новыхъ формъ (очерки «Раззоренье», «Нравы Растеряевой улицы» и друг.). Въ серединъ семидесятыхъ годовъ его потянуло «къ источнику всяческой правды», къ мужику. Онъ забрался въ деревню въ поискахъ за твердой точкой опоры, и первое, въ чемъ онъ убъдился, это-въ разложеніи общины, или, по крайней мірь, въ рызкой дифференціаціи ея. Во время голода и неурожая, -- разсказываеть Успенскій, — «въ однѣхъ и тѣхъ же деревняхъ люди умирали съ голоду, фли кору, пухли и т. д,. и въ тъхъ же самыхъ деревняхъ были люди, которые не умирали съ голоду, а, напротивъ, поправлялись и толстъли...

— При общинномъ землевладѣніи?—съ негодованіемъ (какъ мнѣ кажется) перебиваетъ меня воображаемый собесѣдникъ. И какъ мнѣ ни трудно огорчить вопрошателя, но, скрѣпя сердце, я говорю:

- При общинномъ!.. Увы, при общинномъ землевладъніи!
 - Въ однъхъ и тъхъ же деревняхъ?
 - Въ однъхъ и тъхъ же.

- А смертность?

— Точно то же и со смертностью; мруть больные, голодные, худородные, а отъбышеся здравы и невречимы! Одни мруть, какъ мухи, а другіе толстбють, какъ борова»...

(«Старый бурмистръ», 1881—82 гг.; т. III) 1).

Въ объяснение этого факта Успенский категорически заявляеть, что «самаго поверхностнаго взгляда на современную деревню достаточно для того, чтобы не подводить «подъ одно» всёхъ деревенскихъ жителей п всё деревенскія мижнія и желанія». Онъ подчеркиваетъ, вопреки догматическому и славянофильствующему народничеству, что община есть прежде всего экономическая, а отнюдь не этическая концепція, и что птть ничего ошибочнее измерять первое вторымь, какъ, однако, догматическіе народники поступають силошь и рядомъ: «правильность и точность межевыхъ отношеній переносятся въ отношенія нравственныя; равненіе средствъ къ жизни продолжается совершенно произвольно и въ сферъ нравственныхъ отношеній»... «Деревенская жизнь-продолжаеть Успенскій въ томъ же разсказъ-вступаеть въ совершенно новый фазисъ, становится въ совершенно новыя условія, подъ совершенно новыя вліянія и давленія, благодаря которымъ возникають совершенно новыя явленія, явленія огромнаго разстройства всего организма, а вы... упорно не желаете вникнуть во всю глубину этого разстройства. Въ межевыхъ ямахъ и столбахъ... вы видите и спасеніе, и блестящее будущее, и прочее, и прочее. Но межевые столбы были всегда, во всъ дни и годы русской жизни, а, кромпь нихъ, чего-чего ни произошло въ этой жизни! И помъщали ли сін ямы какому бы то ни было самому влодъйскому давленію? Помъщали ли онъ существенной изъ язвъ современной деревни, именноразрушенію однородности средству къ существованію?...»

Итакъ, современная община основана на экономическомъ, а отнюдь не на этическомъ фундаментъ; это было подчеркнуто Успенскимъ еще въ его извъстныхъ очеркахъ «Изъ деревенскаго дневника» (1877—1878 гг.). Успенскаго поражало въ деревнъ «почти полное отсут-

¹⁾ Цитаты по четвертому изд. собр. соч. Глеба Успенского (1903).

ствіе привственной связи между членами деревенской общины». Онъ приводить цёлый рядъ примёровь, «доказывающихъ полное одпночество крестьянской семьи» и подчеркиваетъ, что «крестьянская дума одинока. Въ этомъ-то именно и заключается горе деревни» (VI, 78, 135 и др.). Произведенія Успенскаго, такимъ образомъ, какъ нельзя яснъе подтверждають, что община (какъ это утверждала русская юридическая наука и какъ это мы увидимъ въ следующей главе) есть не что иное, какъ кръпостная общая собственность, причемъ всъ функціп общины были всецёло подчинены фискальнымъ, административнымъ 'цълямъ: община административная губила общину поземельную. Успенскому не разъ приходилось слышать менду общинниками разговоры такого рода; «ну. старичокъ Господній, силовъ у тебя ніту, платить въ казну тебъ не въ моготу; приходится тебъ, старичку пріятному, пожалуй что, и слёзать съ земли-то... Такъ-то... потому молодыхъ ребять надыть на землю сажать, а а тебъ бы, старичку, тихимъ бы, напримъръ, манеромъ, - жели говорить примърно, и помирать бы въ самый разъ... Такъ-то» (VI, 181). Какая послъ этого можеть быть ръчь объ этической основъ общины! Добросовъстному народнику остается только возмущаться такимъ ходомъ дела, недоумъвать, «отчего бы» дълу не идти иначе, и мечтать о томъ, что было бы, «если бы»... Этого въ самомъ дълт не бываетъ, — заявляетъ Успенскій про призръніе старика или сироты въ общинт; - а отчего бы? Чего бы стоило ему быть? (VI, 110)... А вотъ «если бы» въ деревню вошли посторонніе, болже опытные и знающіе люди, «ноторые сдълали бы «общинными» интересами не только одну землю», то община воскресла бы для новой жизни (VI, 77--8). II эту маниловскую мысль Успенскій повторяеть не одинь разь; въ очеркѣ «Малые ребята» (1880 г.) онъ категорически заявляетъ, что община, навърное, начнетъ жить «по худому» и погибнетъ, «если на помощь деревить, «не знающей» всей сложности новыхъ условій жизни, не придеть челов'єкъ, знающій эти условія, и не оборонить ее отъ бъды» (VII, 32). Кто таковъ этотъ Ерусланъ Лазаревичъ, Успенскій, конечно, не говорить читателю, ибо не знаеть и самь...

Въ попыткахъ найти точку опоры и Успенскій, и Златовратскій, й многіе другіе независимо другь отъ друга совершили одинъ и тотъ же путь; буквально тождественны и объекты ихъ самоутъшенія. Все было бы спасено, если бы можно было приспособить къ цёлу «лучшій народъ» — говорить, напримъръ, Златовратскій; и Успенскій также ждеть спасенія оть свнающаго человъка». Народники изогда пробовали утъщиться какимънибудь частнымъ явленіеми; въ этомъ же иногда бывалъ гръщенъ и Успенскій, жадно хватаясь за какое-нибудь самомалъйшее «отрадное» явленіе. Напримъръ: мірскимъ сходомъ рёшено нанять избу для ночевки «странныхъ людей». «Кому же это пришло въ голову?» -- спрашиваетъ обрадованный «отраднымъ явленіемъ» Успенскій. — «Коли меня обокрадуть, да тебя обокрадуть, да сожгуть раза три всю деревню, такъ и придетъ въ голову!» -- отвъчаеть крестьянинъ собестдникъ нашему автору. И этотъ исключительно шкурный поступокъ (не пусти «страннихъ людей» совстмъ, такъ они, пожалуй, и не три раза сожгутъ деревню!) ищущій просвіта Успенскій склоненъ счесть явно «отраднымъ» явленіемъ: «это новое, - думаетъ онъ, - этого не было; это не хозяйственное, а общественное, хоть капельку, но доброе. Тутъ есть ужъ вниманіе къ чужому горю, тоже капельное, но ужъ не только ceoe» (VII, 166).

Все это утвшаеть себя Успенскій-публицисть, а художникь-Успенскій туть же безжалостно разрушаеть всвиллюзіи своего alter ego. Правда, и какь публицисть, Успенскій никогда не доходиль до геркулесовыхь столновь идеализацій кулачества, хотя и признаваль сильныя стороны этого явленія. «...Въ кулачествів, — писаль по этому поводу Успенскій, — вы видите несомнівное присутствіе ума, дарованія, таланта... для кулачества необходимо быть очень умнымь и очень талантливымь человійкомъ» (VII, 37); но именео это-то и всего ужасніве, ибо кулачество въ то же самое время есть злокачествонная язва, «органическій недугь» общины, а не наносное пятно, которое можно стереть. Это безстрашное признаніе ноказываеть, что Успенскій не могь успоконться и на другихъ «утвшеніяхъ», которыя ему, художнику, подсо-

вываль его alter ego, публицисть. Только что успъеть публицисть порадоваться «отрадному» явленію, обрисовывающему этическую подоплеку общины, какъ художникъ безпощадно вскрываетъ передъ нимъ мрачную картину разлагающейся общины (см. очеркъ «Богъ гръхамъ терпить», гл. IV—VII). Только что публицисть займется маниловскими мечтаніями о «знающемъ человъкъ», который-де «оборонить общину оть бёды», какъ художникъ въ великолъпномъ разсказъ («Овца безъ стада», 1877 г.) выводитъ именно такого «знающаго» (во всякомъ случав, болве «знающаго», чвмъ крестьянинъ) человека, который шелъ съ цёлью оборонить общину отъ бъды и слиться съ народомъ, а пришелъ только къ горькому выводу: «не сольешься съ вами, а соньешься» (VI, 200). Таковъ чаемый и ожидаемый Ерусланъ Лазаревичъ на реальной почвъ россійской дъятельности.

VII.

Итакъ, мы должны отказаться отъ всякихъ радужныхъ надеждъ и утъшеній; мы присутствуемъ при безнадежной попыткъ отыскать подъ ногами точку опоры... Въ концъ концовъ, публицистъ стущевывается передъ художникомъ, который въ яркихъ образахъ выясняетъ причину разложенія общины, причину распаденія прадідовенихъ устоевъ. Эта причина-шествіе капитализма. На эту тему у Успенскаго есть ненамъренно символистическая, яркая картина: по проселочнымъ дорогамъ крестьяне везуть кулаку-кунцу локомобиль. «...Тысячепудовое чудовище, наконецъ, прі хало изъ Москвы на станцію жельзной дороги, и, окруженное массою распоясовскаго народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно стою нелѣпую, желѣзную пасть, какъ бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась передъ нею, всю эту рвань, которая копошилась вокругъ нея. Медленно и грузно двигается оно впередъ; то затрещить и рухнеть подъ нимъ гнилой мость, то застрянеть оно на крутомъ подъемъ; то вдругъ, на крутомъ поворотъ, когда разойдутся и лошади, и люди, и съ гиканіемъ мчать его впередъ, оно вдругь свернется

на бокъ и растянется на пашнѣ, раздавивъ подъ собою и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюш-ку» («Книжка чековъ»; II, 144).

Таково пришествіе «гръховодника-капитала», по выраженію Успенскаго въ другомъ его произведеніи («Письма съ дороги»); по одному этому выраженію можно вид'єть, что если Успенскій и върно видить въ капитализмъ причину разложенія народныхъ устоевъ эпохи натуральнаго хозяйства, то въ то же время онъ склоненъ отнестись къ этой причинъ вполнъ отрицательно. Достаточно вспомнить, съ какимъ восторгомъ перечисляеть онъ въ этихъ своихъ «Письмахъ съ дороги» всѣ препятствія, которыя сама природа западнаго побережья Кавказа ставить этому гръховоднику-капиталу: и какой-то «трескунъ-камень», затрудняющій проведеніе желізной дороги въ Новороссійскъ, и палящее солнце и главное препятствіе-новорессійскую бухту, подверженную дъйствію вътровъ... Это ярко символизируетъ тайныя унованія многихъ народниковъ той эпохи, идеологомъ которыхъ былъ, какъ мы еще укажемъ въ следующей главе, В. В., перечислявшій въ своей книгѣ («Судьбы капитализма въ Россін», 1881—82 гг.) всв препятствія, которыя условія русской жизни ставять пришествію капитализма. Мы знаемъ теперь, что, говоря символично, ни трескунъ-камень, ни открытая бухта не помътали пришествію «гръховодникакапитала»: желъзная дорога благополучно проведена, а въ бухтъ выстроенъ молъ. И самъ Успенскій съ горечью сознается, что, несмотря на всё препятствія, грёховодникъкапиталъ «пришелъ-таки и разинулъ пасть!...» (Х, 13).

Отрицательное отношеніе къ капитализму въ художественномъ народничествъ объясняется, конечно, не только тъмъ, что капитализмъ разрушалъ своимъ пришествіемъ общинные устои; основныя причины такого отношенія шли неизмъримо дальше и въ ширь, и въ глубь: съ одной стороны, онъ были эстетическаго, а съ другой— этическаго характера. О послъднихъ мы поговоримъ инже, а теперь останевимся на первыхъ, изложенію которыхъ посвящены два замъчательныхъ произведснія Усненскаго «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ» (1880 г.) и «Власть вемли» (1882 г.).

Въ своей автобюграфіи Успенскій разсказываеть, какъ «подлинная правда жизни» повлекла его къ источнику, т. е., къ мужику: «по несчастью. — прибавляеть онъ, — я попаль въ такія м'єста, гді источника видно не было... Пеньга привалила въ эти мъста»...-и Успенскій воочію видълъ разложение исконныхъ устоевъ подъ вліяніемъ капитализма. Онъ видёлъ, что подъ вліяніемъ капиталистическихъ отношеній деревня распадается на тъ же три класса, о которыхъ въ это же самое время говорилъ и Златовратскій, — на «пьяницъ», «хозяйныхъ мужиковъ» и «міровдовъ» (конечно, Успенскій не употребляеть этихъ терминовъ). «...Черезъ десять лътъ (много-много)-говорить Успенскій-Ивану Ермолаевичу (типъ «хозяйственнаго» мужика) и ему подобнымъ нельзя будетъ жить на свътъ: они воспроизведутъ къ тому времени два новыя сословія, которыя будуть тёснить и напирать на «крестьянство» съ двухъ сторонъ: сверху будетъ насъдать представитель третьяго сословія, а снизу тоть же брать-мужикъ, но уже представитель четвертаго сословія» (VIII, 15).

Въ чемъ же лежитъ причина появленія этого четвертаго сословія? Успенскій пробуеть утішить себя старой погудкой на новый ладъ, заявляя, что четвертое сословіе есть «продуктъ безсердечной общественной невнимательности-ничего болже (!)... Но туть же онъ чувствуеть всю маниловщину подобнаго отвъта и выясняеть читателю, что причина эта лежить въ неуклонномъ шествін впередъ такъ называемой «пивилизаціи». Идетъ цивилизація, идеть канитализмъ и безпощадно разрушаеть былую стройность общинныхъ отношеній и красоту и цёльность крестьянскаго труда; капитализмъ въ корнъ подтачиваеть всю эстетику вемледельческихъ идеаловъ, великолъпно вскрытую Успенскимъ въ его «Крестьянинъ и крестьянскомъ трудъ». Весь тысячельтній крестьянскій трудъ былъ бы толченіемъ воды въ ступъ, если бы крестьянинъ не жилъ полной жизнью, на груди материземли; фраза эта-о «жизни на груди природы», о «единеніи съ природой» — такъ избита и опошлена, что нужна нъкоторая смълость для ея приложенія къ крестьянской жизни, — и, однако, она приложима къ ней более, чемъ къ чему бы то ни было другому. Крестьянинъ, съ одной стороны, живеть въ полномъ подчиненіи «землё», и, съ другой стороны, въ полномъ единеніи съ нею, сказывающемся въ пантеистическихъ или почти пантеистическихъ формахъ; всю внутреннюю осмысленность и цёлостность этой жизни Успенскій и пытается вскрыть въ своемъ поистинъ блестящемъ, вышеупомянутомъ произведеніи и въ не менъе внаменитой «Власти земли».

Въ своей автобіографіи Успенскій разсказываеть, какъ въ медвъжьемъ углу Новгородской губерніи, куда еще мало проникли въянія капиталистических отношеній, онъ «въ первый разъ въ жизни увидълъ дъйствительно одну подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа-именно власть земли»; эта черта объяснила ему всю стройность и цёльность сизифовой крестьянской работы. Объяснить—значить оправдать; и дъйствительно, съ новой своей точки зрѣнія Успенскій оправдаль ту «темноту» народа, которая была такъ наруку темнымъ силамъ абсолютизма и такъ враждебна интеллигенціи; такъ, напримъръ, великолъпно и остроумно вскрываетъ Успенскій связь идеи абсолютизма съ вемледёльческимъ трудомъ, слъдствіемъ чего можеть явиться только требованіе «не суйся!», обращаемое народомъ къ интеллигенту-народнику-не суйся между молотомъ и наковальней, между экономическими и политическими идеалами крестьянства. Конечно, Успенскій видить, что это трагическое для интеллигенціи требованіе совершенно неисполнимо и можеть быть наруку только эпигонамъ славянофильства и славянофильствующимъ народникамъ; очевидно поэтому, что самъ онъ отнюдь не преклоняется предъ «властью земли»; онъ только объясняетъ этимъ принципомъ всъ-и свътлыя и темныя-стороны крестьянскаго обихода. Наиболее светлой стороной является эстемическая гармоничность, цёльность и красота земледъльческаго уклада жизни.

Но воть является капитализмъ. Конечно, и въ немъ есть свои свътлыя и темныя стороны; одной изъ наибо-лъе темныхъ для Успенскаго является именно разрушеніе сельско-хозяйственной эстетики. «...Стройность сельско-хозяйственныхъ, вемледъльческихъ идеаловъ безпощадно разрушается такъ называемой цивилизаціей, — имшетъ

Успенскій. — До освобожденія крестьянъ нашъ народъ не имълъ съ этой язвой никакого дъла (конечно, Успенскій иронизируетъ, какъ видно изъ дальнъйшаго); онъ стоялъ къ ней спиной, устремляя взоръ единственно на помъщій амбаръ, для наполненія котораго изощрялъ свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда онъ, обернувшись къ амбару спиной, сталъ къ цивилизаціи лицомъ, дёло его, его міросозерцаніе, общественныя и частныя отношенія — все это очутилось въ большой опасности. Ибо цивилизація эта, какъ кажется, имъетъ единственной цълью стереть съ лица земли всъ вышеупомянутые земледёльческіе идеалы»... Успенскій ставитъ вопросъ ребромъ: съ одной стороны, земледъльческіе идеалы, съ другой -- цивилизація; одно должно побъдить другое, средняго выхода нътъ. Что дълать для сохраненія этихъ идеаловъ во всей красоть ихъ цъльности? Средство только одно: цивилизація хочеть «стереть съ лица земли» всъ эти идеалы? — ну, такъ надо «смести съ лица земли» самоё цивилизацію во встхъ ея проявленіяхъ, начиная отъ керосиновой лампы и ситца и кончая книгопечатаніемъ и жельзными дорогами... Самъ Успенскій называеть такое пожеланіе «крайнимъ легкомысліемъ» (давшимъ, однако, плодъ сторицею въ толстовствъ 80-хъ годовъ); вся глубина этого, мягко выражаясь, «легкомыслія» ясна уже изъ одного того, что и самъ Иванъ Ермолаевичъ отнюдь не желаетъ переходить отъ кероспновой лампы къ лучинъ. «И выходить поэтому — безнадежно заключаеть Успенскій — для всякаго что-нибудь думающаго о народъ человъка задача, поистинъ неразръшимая; цивилизація идеть, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того, что не можешь остановить этого шествія, но еще... не долженъ, не имъешь ни права, ни резона соваться, въ виду того, что идеалы земледъльческие прекрасны и совершенны. Итакъ, остановить шествіе не моэкешь, а соваться не долженъ» (VIII, 33-5).

Конечно, нетрудно разорвать этотъ заколдованный кругь, и притомъ въ обоихъ пунктахъ. Остановить «шествіе цивилизаціи» критическій народникъ, разумбется, не только не можеть, но и не должень; но онъ и можеть и должень бороться за направленіе этого «шествія»

(въ этомъ былъ весь смыслъ происходившихъ какъ разъ въ то время народовольческихъ попытокъ «захвата власти»); съ другой стороны, онъ не только можеть, но и долженъ «соваться», ибо для него обявательны не мнѣнія, а интересы народа, котораго по пути безжалостно давитъ тяжелая колесница цивилизаціи. Но дѣло теперь не въ этомъ; интересно для насъ въ данномъ случаѣ только отрицательное отношеніе Успенскаго къ капитализму на основаніи мотивовъ чисто эстемическаго характера: капитализмъ губитъ красоту и цѣльность сельско-хозяйственныхъ идеаловъ.

VIII.

Другая причина отрицательнаго отношенія къ капитализму, какъ мы уже отметили выше, является основанной на этической почвъ, или, върнъе, на этико-соціологической: капитализмъ губить цёльность и гармоничность самой человъческой личности, обращая ее изъ цъли въ средство. Эта точка зрвнія на капитализмъ ярко очерчивается Успенскимъ въ одной притчъ, которую онъ разсказываетъ словами какого-то стараго раскольника. «Лежало, изволишь ли видеть, тысячу леть, а можеть и сто тысячь лёть 1), подъ землею, на необыкновенной глубинв, огромнъйшее пространство желъза. Лежало оно холодное, мертвое, недвижимое, ржавое; ... и лежало обо такимъ трупомъ бездыханнымъ несчетные въки въковъ. А надъ нимъ, какъ надъ мертвецомъ, Господь насыпалъ огромные холмы и долины земли. На землъ этой росла зеленая трава, яркіе цв точки, росли хл ба, овсы, льны, л тса дремучіе и стояли деревни, села и храмы Божіи. И жили въ этихъ деревняхъ мужики, бабы и ребята, жили своимъ трудомъ, своимъ домомъ, каждый былъ самъ себъ хозяинъ. Такъ вотъ какъ было: подъ землей лежалъ желѣзный мертвецъ, трупъ бездыханный, а на землъ жилъ живой человъкъ... Лежитъ мертвое тъло, живетъ живой человъкъ»... Но туть-то и появился «некоторый завистникъ», -- Капи-

¹⁾ Одна эта фраза ясно показываеть апокриенчность существованія этого «стараго раскольника», за которымъ, очевидно, стоитъ самъ Успенскій.

талъ, - который и испортилъ всю эту идиллію: «...пришелъ, на людей не поглядълъ, Богу не помолился, а прямо носомъ-то своимъ въ землю воткнулся... Воткнулся и засверлилъ!.. И что же стало! Стало мертвое желъзо разогреваться, стало теплеть, мякнуть, потянулось, разогрълось — ожило!... ...Поднялось оно изъ-подъ земли и заиграло! И проволокой вокругь всего свъта обвилось, ...и побъжало пароходами, вагонами, заиграло колесами на мельницахъ, на фабрикахъ, застучало станками... словомъ, - разгулялось по всему бълу-свъту и на всей своей воль:... А что же стало съ живымъ-то человъкомъ?... Проволоки, колеса, винты, станки... вытащили его изъ своего дома, отняли его отъ хозяйства, приставили его холопомъ у винтовъ, у станковъ, при котлахъ и при печахъ!... Каждый прикованъ къ своему — ...и отойти ему нельзя! Какъ отошель-такъ и ъсть нечего!... Какъ пересталь у печки горъть - умирай! А желъзо-то гуляеть по всему свъту, со всъмъ свътомъ разговариваетъ» (V, 188).

Въ этой поэтической «притчъ» отмъченъ совершенно върный фактъ: капиталистическія отношенія, дъйствительно, стремятся обратить человъка изъ цъли въ средство, превратить его въ «палецъ отъ ноги» общественнаго организма. Фактъ отмъченъ върно, но върно ли сдъланы выводы изъ этого факта? Въ этомъ весь вопросъ. Апокриническій раскольникъ строить на своей притчъ такое уже давно намъ знакомое заключение: надо воспользоваться положительными сторонами капиталистическаго производства и отказаться отъ принятія его отрицательныхъ сторонъ: «давай намъ косу, борону, давай намъ швейную машину, давай косилку, прессъ-все давай, чтобъ человъкъ жилъ дома, жилъ полнымъ порядкомъ, а въ машину его не преображай!»... Какъ видимъ, это уже слъдующая ступень отношенія къ «цивилизаціи», по сравнению съ желаніемъ «смести съ лица» земли всю эту цивилизацію со всёми ея ситцами, желёзными дорогами, керосиновыми лампами и книгопечатаніемъ. При полной невозможности выполненія такой радикальной мъры оставалось попытаться исполнить рецептъ «стараго раскольника» и отдёлить плевелы капитализма отъ пшеницы его... Но оказалось, какъ мы уже знаемъ, что и эта вторая мъра настолько же неудобоисполнима. Легко сказать: пріемлю швейную машину, но отвергаю раздъленіе труда; не мъшало бы, однако, подумать нашему нашему апокривическому раскольнику: а кто-же будеть стоять при той машинъ, которая будетъ дълать части пріемлемой имъ швейной машины? Здъсь передъ нами, дъйствительно, — circulus vitiosus, разорвать который нътъ возможности; здъсь — коренная ощибка народничества, върившаго въ возможность отдълить козлищъ и овецъ въ капитализмъ.

Но въ этой своей ошибкъ художественное народничество оказывается безъ вины виноватымъ, или, вернее, виновнымъ лишь постольку, поскольку публицистика брала въ немъ верхъ надъ художественностью. Художникъ-Успенскій трезво и безстрашно вскрывалъ самыя глубокія язвы современной дёйствительности; но рядомъ съ нимъ работалъ и публицисть-Успенскій, опправшійся въ построеніи своихъ теорій на соціологическую теорію прогресса Михайловскаго, громадное идейное вліяніе котораго на Успенскаго должно быть нами тщательно отмъчено. Какъ бы ни относиться къ міровозэртнію Михайловскаго (а мы, какъ это уже извъстно читателю, склонны ценить его очень высоко), во всякомъ случат, можно считать окончательно установленной ошибочность знаменитой «формулы прогресса» Михайловскаго, взятой въ ея цъломъ. Но именно эту формулу, и именно въ ея цёломъ, клалъ въ основу всёхъ своихъ теоретическихъ взглядовъ Успенскій 1); по его митнію, формула прогресса Михайловскаго «окончательно ръшаетъ вопросъ какъ о томъ, что вообще нравственно, разумно, справедливо, такъ и о томъ, что такое Россія, Европа, народъ и цивилизація». Эту формулу, считающую прогрессивнымъ наименьшее экономическое раздъление труда при наибольшемъ физіологическомъ, Успенскій, онираясь на авторитеть Л. Толстого, видёль осуществленной «къ нашему, т. е., русскому огромному счастью.., въ глубинахъ нашихъ народных в массъ» (IX, 43 — 4). Отсюда та идеализація типа

¹⁾ Формулу эту—писаль Успенскій «нельзя, будучи справедливымь, не признавать за внолить справедливую» (IX, 56).

развитія русской общинной жизни, которая безъ труда могла перейти въ идеализацію и степени ея развитія; но ни теоретикъ Михайловскій, ни художникъ Успенскій не были повинны въ этомъ грёхъ. Такъ, напримъръ, въ разсказъ Успенскаго «Овца безъ стада» (1877 г.) мы встръчаемся съ яркой поныткой такой проповъди — съ теоретической идеализаціей мужицкой жизни; но тутъ же Успенскій - художникъ съ еще большею яркостью вскрываеть всю безпочвенность и теоретичность такихъ ультранародническихъ понытокъ.

Вообще, отъ догматическаго народничества Успенскагохудожника отдёляла цёлая пропасть. Мы видёли выше, что Успенскій твердо отстаиваль положеніе о стройности, гармоничности и красотъ формъ народной жизни; но онъ же первый подчеркнуль ту еретическую для народниковъдогматиковъ мысль, что въ созданіи этихъ формъ нътъ никакой заслуги русскаго народа. Въ очеркахъ «Изъ разговоровъ съ пріятелями» (на тему о «власти земли») (1883 г.) онъ съ безпощадной логичностью проводить эту мысль устами своего alter ego, нѣкоего Протасова-Пигасова (см. первый изъ этихъ великолъпныхъ очерковъ — «Безъ своей воли»). Пигасовь, къ великому негодованію правовърнаго народника Верезникова, проводитъ теорію строенія формъ народной жизни самопроизвольно, безъ участія народнаго ума или воли: это-своего рода органическій процессъ. Въдь, и всякая галка, если разсмотръть ея организацію, «удивительно ловко и умно устроена», но, въдь, не приписываемъ же мы эту организацію уму или волъ самой этой галки?.. Въ отвътъ на это негодующій Березниковъ съ жаромъ описываетъ рыболовную ильменскую артель, дошедшую «своимъ умомъ» даже до астрономіи, до изученія в'тровъ и т. п. для оріентировки по озеру... «Откуда все это произошло? — побъдоносно вопрошаетъ Березниковъ: — ...къмъ или чъмъ все это организовано? Народнымъ умомъ, или... ну, чъмъ?..

Пигасовъ молча выслушаль этотъ вопросъ и какъ то нехотя проговорилъ:

— Да тамъ у васъ какую рыбу ловять?

[—] У насъ? У насъ тамъ ловять сиговъ... ни болѣе, ни менъе!

— Ну, такъ все это и произведено, — спокойно отвъчаль Пигасовъ, — не умомъ, а... сигомъ!..» Ибо: «позвольте мнѣ спросить васъ, въ свою очередь, что было бы съ вашей артелью, если бы сиги вдругъ исчезли?... Въроятно, не было бы и артели, не было бы ни вашей астрономіи, ни вашихъ теорій вътра» (VIII, 139—144). Конечно, это только остроумный парадоксъ; но не характерно ли, что ярый народникъ Березниковъ, съ разръшенія автора, безсильно складываетъ оружіе въ попыткъ «опровергнуть»

этотъ парадоксъ?

Итакъ, каковы бы ни были теоретическія обоснованія Успенскаго, но художникъ въ немъ всегда бралъ верхъ надъ публицистомъ. Художникъ этотъ яркими образами нарисовалъ картину разложенія земледѣльческихъ идеаловъ и ясно указалъ на причины такого разложенія. Онъ неоспоримыми наблюденіями подтвердилъ, что современная русская община есть не этическая, а экономическая концепція, что поэтому соціально-экономическая дифференціація неизбѣжно вторгается въ деревню, и что «разрушеніе однородности средствъ къ существованію» въ общинъ сопутствуетъ «отсутствію нравственной связи» между членами этой общины.

Всв поиски «отрадныхъ» явленій оказываются тщетными, равно какъ и всъ упованія на то, что придетъ «знающій» человъкъ и оборонить общину отъ бъды. Никакой «знающій» человъкъ не можетъ, признаетъ самъ Успенскій, задержать «шествіе цивилизаціи» п «гръховодника-капитала»; каково бы ни было эстетическое и этикосоціологическое отрицательное вліяніе капитализма — не во власти «внающаго» человъка измънить направление его движенія. Когда знающій человъкъ видить, что жизнь ставить передъ нимъ роковую дилемму-капитализмъ или красота и справедливость общинныхъ пдеаловъ?-то онъ долженъ признать, что всв шансы на побъду за первымъ. Попытка же и капиталъ пріобръсти, и красоту общинныхъ идеаловъ соблюсти, -- при помощи отверженія отрицательныхъ сторонъ капитализма и принятія его положительныхъ сторонъ, — еще болъе неосуществима, ибо связь между этими сторонами капитализма является органической и неразрывной.

Однако, есть еще и третья возможность, не замъченная ни художественнымъ, ни теоретическимъ народничествомъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ и выяснившаяся только къ исходу XIX-го столътія: это признаніе одновременной возможности и экономическаго, и физіологическаго раздъленія труда, т. е., признаніе капитализма, и одновременная политическая борьба, для осуществленія реформы общиннаго строя и сочетанія эволюціонировавшихъ общинныхъ идеаловъ съ капиталистическимъ строемъ--«соціализація земли»... Но въ восьмидесятыхъ годахъ этой возможности не чувствовалъ Успенскій, не видёлъ ея и Михайловскій, народничество не видёло ни въ чемъ выхода и съ тяжелымъ сердцемъ смотрёло на разложение своихъ завътныхъ идеаловъ и на торжество идеаловъ сословно - м'вщанскихъ, буржуазныхъ, при одновременномъ махровомъ расцвътъ идеаловъ этическаго мъщанства и основоноложеній самодовольной адуевщины. Съ этой эпохой общественнаго мъщанства намъ теперь и предстоитъ познакомиться.

Эпоха общественнаго мъщанства.

I.

Эпоха общественнаго мѣщанства была возвращеніемъ къ адуевскимъ идеаламъ. И для такого возвращенія русскому «культурному» обществу не пришлось дѣлать головстомнаго прыжка на тридчать лѣтъ назадъ: мѣщанскіе идеалы продолжали мирно процвѣтать подъ сѣнью шестидесятыхъ и даже семидесятыхъ годовъ; въ восьмидесятыхъ—они только распустились махровымъ цвѣтомъ. Мы бѣгло прослѣдимъ за этой преемственной связью мѣщанства послѣ Адуева и Штольца, т. е., послѣ окончанія эпохи

мъщанства оффиціальнаго.

Разночинецъ, пришедшій въ шестидесятыхъ годахъ, могъ отнестись только съ рёзкимъ осужденіемъ къ добродітельному міщанству героевъ Гончарова (такъ къ нимъ и отнесся Добролюбовъ); но это осужденіе было не вполнів искреннимъ. Вспомнимъ, какъ завидовалъ Добролюбовъ «мітанскому счастью» окружавшей его среды, какъ онъ иногда старался быть «какъ всё» (см. его письма и дневникъ). Разночинецъ долженъ былъ бороться съ тіми заманчивыми перспективами, которыя рисовались ему идеологами мітанства; изъ борьбы этой онъ чаще всего выходиль побітакой разсказаль намъ Помяловскій въ двухъ своихъ романахъ («Мітанское счастье» и «Молотовъ», 1861 г.).

Егоръ Ивановичъ Молотовъ, герой обоихъ романовъ Помяловскато, — типичный разночиеецъ, съ тоскою спра-

шивающій себя: «гдѣ тѣ липы, подъ которыми прошло мое дътство? Нътъ тъхъ липъ, да и не было никогда»... Вотъ первая заманка мъщанства — создать эти «липы», если не для себя, то для своихъ дътей; въ Молотовъ долго боролись вадатки типичнаго разночинца, ненавидящаго мъщанство, со стремленіемъ создать себъ свои «липы». У него есть другъ Негодящевъ — предсказанный Помяловскимъ типъ восьмидесятника pur sang; принципы Heгодящева предвосхищають на четверть въка смыслъ всей философіи восьмидесятыхъ годовъ: «можно читать Фауста и служить очень порядочно... Прочь вопросы! Ихъ жизнь разръшить, только бери ее такъ, какъ она есть: ...безъ смысла жизнь — живи безъ смысла; худо жить — живи худо». Надъ этой философіей Молотовъ зло иронизируеть: «вотъ чиновные принципы, возведенные къ въчнымъ началамъ разума!.. трансцендентальное чиновничество!.. Фаустъ въ вицъ-мундиръ, Гамлетъ въ канцеляріи его превосходительства!» Въ немъ вспыхиваетъ ненависть къ мъщанству; онъ дорого ценить свою личность, онъ не согласенъ жить безъ смысла и жить худо, онъ ищетъ смысла и широты въ жизни: «мое призваніе—жить... всей душой, всеми порами тела жить хочу!» Но это - только внезапная вснышка: черезъ день онъ уже тоскусть и колеблетсякакъ жить? макъ жить такъ, чтобы «...не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... Выдумать ее, что ли?.. сочинить?.. у умныхъ людей спросить?..» А еще черезъ день онъ утвжаеть къ Негодящему, чтобы начать тянуть чиновничью лямку. (Помяловскій, Сочиненія, «Мъщанское счастье», стр. 27, 35, 104-107, 119 и др.).

Мы его встръчаемъ только черезъ много лътъ, и передъ нами во всей своей красъ либеральный чиновникъ, почти вполнъ забывшій былые свои запросы и завязнувшій въ мъщанскомъ болотъ. Онъ не прочь порисоваться своимъ происхожденіемъ, способенъ признавать «хорошія слова»— трудъ, честь, таланть и т. п. (его товарищъ Череванинъ называетъ ихъ «пустыми словами»); онъ готовъ признать, что «чиновничество — какой-то огромный резервуаръ, поглощающій силы народныя»; у него иногда является «страстное желаніе сдълать всъхъ людей счастливыми»— и онъ, конечно, во всемъ этомъ искрененъ, но не идетъ

дальше фразы. Это сближаеть его съ лишними людьми, а отличаеть оть нихъ его то, что онъ стоить гораздо ближе къ мъщанству. Онъ самъ сознается: «честная чичиковщина настала, и, вотъ, сознаю, что я тоже пріобрътатель... Отвъдавъ вольнаго труда, я нашелъ что департаменть върнъе обезпечиваетъ человъка». Онъ совсъмъ какъ дядюшка Адуевъ продалъ себя безъ остатка комфорту; съ чисто мъщанскимъ самодовольствомъ описываетъ онъ свою квартиру: «на стѣнахъ картины и канделябры, на окнахъ пальма, золотое дерево, фига, лимонъ, кактусъ и плющъ, на столахъ вазы, на полу коверъ, предъ каминомъ дорогой ръзьбы оръховое дерево... Положенное число разъ я бываю въ русскомъ театръ и въ птальянской оперв». Вотъ онъ, мъщанскій идеаль; лимонъ и кактусъ на окнахъ и положенное число посъщеній театра! Это-тотъ самый идеаль, при взглядъ на который, по словамъ Помяловскаго, человъку съ большими запросами отъ жизни думается: «о, Господи, не накажи меня подобнымъ счастьемъ, не допусти меня успокоиться въ томъ мирномъ, безмятежномъ пристанищъ, гдъ совершается такая жизнь».

И ты счастливъ? -- спрашиваетъ Молотова его невъста Надя, ищущая натура, съ задатками болъе широкими, чты на какіе можеть отвттить Молотовъ (ихъ взаимоотношеніе приблизительно таково же, какъ между Ольгой п Штольцемъ). Но Молотовъ не настолько мѣщанинъ, какъ Штольцъ! Онъ хотя и пытается оправдать свое мъщанство, но все-таки сознается, что ему приходится испытывать тоску: «экое дёло, думалось мнт, что я честенъ, не пью водки и въ квартиръ у меня хорошо!.. Что въ томъ толку?.. Куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добываніе насущнаго хліба!.. Благонравная чичиковщина!.. Скучно!.. Чортъ бы побралъ, думалъ я, мое мѣщанское счастье!..» Но все это говорится въ прошедшемъ времени; въ настоящемъ же Молотовъ оправдываетъ себя тѣмъ (и оправданіе это хуже всякаго обвинительнаго приговора), что онъ-средній человъкъ, человъкъ толны: «неужели запрещено устроить простое, мъщанское счастье?.. Надя, милліоны живуть съ единственнымъ призваніемъ-честно наслаждаться жизнью... Мы-простые люди, люди толпы. Ты согласна на это?» И бѣдной дѣвушкѣ, которая ждала и достойна была лучшаго, приходится отвѣтить съ ясно просвѣчивающей грустью передъ разрушенными мечтами и иллюзіями: «я... твоя, вѣдь!» И этимъ Помяловскій оканчиваетъ свою повѣсть, справедливо и съ горечью отмѣчая отъ себя: «тутъ и конецъ мѣщанскому счастью.

Эхъ, господа, что-то скучно!..»

Этими же почти словами закончилъ Гоголь разсказъ о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ; да и въ самомъ дѣлъ, развъ есть ръзкая граница между мъщанскимъ счастьемъ Молотова и растительнымъ счастьемъ гоголевскихъ героевъ? Главная разница въ томъ, что Молотовъ представляетъ изъ себя нѣчто среднее пропорціональное между м'єщанином в и лишнимъ человъкомъ; отъ лишняго человъка его отдъляетъ мъщанство, отъ мъщанства -- сознаніе, что онъ -- мъщанинъ. Въ немъ олицетворилось невольное и безсознательное влеченіе нікоторой части разночинцевь къ мінцанству и въ то же самое время сознаніе всёхъ отрицательныхъ сторонъ этого мъщанства. Помяловскій, самъ разночинецъ, относился къ своему герою съ достаточной симпатіей въ первой повъсти и не скрывалъ своего проническато отношенія къ нему во второмъ романт, гдт Молотовъ сталъ ближе къ мъщанству. И если на типъ Молотова мы знакомимся съ небольшой частью разночинцевъ, сохранившихъ свои симпатін къ мѣщанству, то въ Помяловскомъ мы видимъ разночинца шестидесятыхъ годовъ, относящагося къ мъщанству болъе чъмъ съ ненавистью. Художникъ Череванинъ, со своей философіей «кладбищенства», появляющійся въ «Молотовъ» — alter ego Помяловскаго; онъ такъ кладбищенствуетъ о мѣщанахъ: «у этихъ людей ничего нътъ своего, нътъ нравственной собственности. Все это - ходячее повторение и подражание... Что бы ни дёлали эти люди: смотрять ли они на закать солнца, ***** фдять ли горячія щи, Богу ли молятся или хоронять отца, - и мысль, и слово, и смѣхъ, и слезы--все у нахъ получено по наслъдству; и добродътели у нихъ не свои, и пороки не свои, и умъ чужой. Что же ты такое, эй, ты, честный человъкъ? Гдъ твоя личность, индивидуальность, гдъ твой талантъ, прибавилъ ли ты хоть грошъ къ нему?»

Конечно, не прибавиль, такъ какъ мъщанинъ не имъетъ своей индивидуальности (Помяловскій, Сочиненія, «Молотовъ», стр. 157, 192, 255, 295—300 и др.).

Мы уже встръчались съ кладбищенствомъ Череванина; теперь же отмъчаемъ то обстоятельство, что задуманная Помяловскимъ апологія м'єщанства (если она была имъ задумана) совершенно сошла на нътъ; онъ самъ не выдержалъ разъ взятаго тона и изъ апологета превратился чуть-ли не въ сатирика. Онъ не осудилъ Молотова окончательно, но и не выдалъ ему монтіоновской преміи за мъщанскую добродътель; и Писаревъ совершенно правъ, говоря, что для Гончарова Штольцъ есть идеалъ, о которомъ едва позволительно мечтать, а для Помяловскаго Молотовъ есть minimum, на которомъ едва ли позволительно останавливаться, а, быть можетъ, и совершенно непозволительно. Помяловскаго онъ не только не считаеть апологетомъ мъщанства, но, наоборотъ, видитъ въ немъ своего союзника и ръшительнаго индивидуалиста: «...спасибо тебъ, Помяловскій, за то, что ты сильнымъ и убъдительнымъ твоимъ словомъ заступился рёшительно за святыню человъческой личности».

II.

Какъ бы то ни было, но фактъ налицо: пришествіе разночинца еще далеко не знаменовало собою окончательной побъды русской интеллигенціи надъ мъщанскими идеалами. Къ тому же, едва только «разночинецъ пришелъ», какъ уже раздался тревожный возгласъ: «идетъ чумазый!», идетъ сословно-экономическое мѣщанство во всеоружіи м'єщанства этическаго. Возглась этоть принадлежалъ Салтыкову, и объ этомъ мы уже говорили; теперь же мы хотимъ отмътить романъ Писемскаго «Мъщане» (1877 г.), въ которомъ подробно живописуется притествіе этого сословно-этическаго мізщанства. Впрочемъ, терминъ «мъщанство» Писемскій понимаеть исключительно въ сословно-экономическомъ смыслъ; мъщане -это «продуктъ капитала, самой пагубной силы настоящаго времени; существовавшее рыцарство, по своему деспотизму, ничто въ сравненіи съ капиталомъ» (стр. 104;

Собр. соч., изд. 2-ое). И такое мъщанство повсюду ломится въ двери: «все сплошь и кругомъ превращается въ мѣщанство» (Ibid., 29); чумазый идетъ. И плодами наукъ, искусствъ, творчества человъческаго генія пользуются теперь почти всецьло мъщане, «торгашъ, ремесленникъ, дрянь разная, шваль-и, однако, они теперь герои дня!» (Ibid., 31); это болье всего возмущаеть главнаго героя романа, блещущаго всёми добродетелями Бёгушева (онъ-же Бълавинъ изъ «Тысячи душъ», онъ-же генералъ Коптинъ изъ «Людей сороковыхъ годовъ»). Но этотъ добродътельный герой нигдъ не задается вопросомъ объ основныхъ признакахъ мъщанства; его въ сущности нисколько не возмущаеть мъщанство этическое, онъ только мечеть громы противъ сословнаго мъщанства и требуетъ Вога на землю, чтобы дать новое содержание жизни. Воть одинъ діалогъ:

— «И работникъ, по твоему, превратится въ такого же мъщанина, какъ и хозяинъ? (спрашиваетъ Бъгушевъ).

- Непремънно (отвъчаетъ Тюменевъ, сановный ли-

бералъ романа), но того только и желать надобно...

— Ну, нъть!.. — заговориль Бъгушевъ, замотавъ головой, какимъ-то трагическимъ голосомъ; — пусть лучше сойдетъ на землю огненный дождь, потопъ, лопнетъ кора земная, но я этой курицы во щахъ, о которой мечталт. Генрихъ IV, міру не желаю.

— Но чего же ты именно желаешь, любопытно знать? -

сказалъ Тюменевъ.

— Бога на землю! — воскликнулъ Бъгушевъ» (Ibid., 32). Бъгушевъ, очевидно, ненавидитъ сословно-экономическое мъщанство за узость и скудость его духовной жизни, за отсутствіе свътлой и зиждущей иден; мы сейчасъ увидимъ, такъ ли это, а пока мимоходомъ замътимъ, что подъ Бъгушевымъ (отчасти также и подъ Александромъ Ивановичемъ Коптинымъ въ «Людяхъ сороковыхъ годовъ») довольно ясно виденъ Герценъ послъдняго періода жизни. Таковы, напримъръ, характерныя черты Бъгушева: его въра въ Европу, разочарованіе 1848-мъ годомъ, послъдующій скептицизмъ, мысль, что въ Европъ «все мало по-малу превращается въ мъщанство»; наконецъ, даже знаменитое

предсказаніе Герценомъ франко-прусской войны («теперь графъ Висмаркъ, - ваше дъло!») ночти буквально повторяется въ одной фразъ Бъгушева («...показывается каска Бисмарка...»; см. все это Ibid., 93-95). Все это достаточно очевидно, но не менте очевидно и то, что Писемскій даль не копію, а пародію Герцена, такъ какъ совершенно былъ не въ силахъ понять, что Герценъ осуждалъ мъщанство отнюдь не только съ сословно-экономической точки зрънія, т. е., не только понимая подъ нимъ буржуазію. Его Бъгушевъ-самъ жалкій мъщанинъ, и къ чему сводится его требование «Бога на землю», достаточно ясно изъ одной центральной сцены романа, которая убъдительно показываетъ, съ какой скудостью мысли Писемскій понималъ «мъщанство». Послъ званаго объда у одного изъ разбогатъвшихъ «мъщанъ», полковника Янсутскаго, Бъгушевъ заказываетъ ужинъ у себя дома, чтобы показать, «какъ нужно тесть»... Онъ съ павосомъ объясняеть вст достоинства пулярды съ трюфелями, масседуана и краснаго вина, по сравненію ихъ съ тъмп, какіе были у «мъщанина» Янсутскаго. «Мъщане!.. Они никогда не будутъ порядочно ъсть» — заключаеть онъ съ полнымъ сознаніемъ своего превосходства... (Ibid., 104).

Не довольно-ли? Намъ кажется, что вполнъ довольно для того, чтобы вывести заключение о полнъйшемъ мъщанствъ и Писемскаго, и его героя: достаточно одного последняго гастрономическаго критерія мещанства... Мы не остановились бы такъ подробно на рампъ Писемскаго, если бы онъ не иллюстрировалъ собою - все-таки въ общемъ върно - нарождение новаго, сословно-экономическаго мъщанства. Кромъ того, весь этотъ эпизодъ ръзко очерчиваетъ границы между понятіями экономическаго и этическаго мъщанства, т. е., между буржуазіей и мъщанствомъ въ широкомъ смыслъ: мы здъсь видъли еще разъ, что можно быть ожесточеннымъ противникомъ буржуазін и въ то же время быть съ головы до ногъ мъщаниномъ. Нарождающаяся буржуазія, правда, стала сугубо міщанской, но отсюда еще далеко до заключенія, что каждый врагъ буржуазін тімъ самымъ уже анти-мізщанинъ. А затімь, послі такого разъясненія можно оставить анти-буржуа,

но мъщанина Бътушева-Писемскато въ покот и перейти къ болъе интересному для насъ роману Тургенева, «Новь» (1877 г.), въ которомъ мы снова встрътимся съ этичеческимъ мъщанствомъ:

III.

Уже третій разъ мы возвращаемся къ Тургеневу, изучая смъну идеологій русской интеллигенціи отъ сороковыхъ до восьмидесятыхъ годовъ, одно это показываетъ, какъ чутко относился талантливый художникъ къ окружавшей его жизни. Мы знаемъ, какъ онъ относился къ мъщанству, какъ подчеркивалъ отрицательныя стороны его въ своихъ типахъ лишнихъ людей, съ какой симпатіей онъ раздъляль индивидуалистическіе взгляды своего Базарова; темъ характернее его выступление на путь безсознательнаго апологета мъщанства въ концъ семидесятыхъ годовъ. То мертвое, сухое, размъренное мъщанство, которое было такъ по душт Гончарову, всегда претило Тургеневу; онъ сталъ апологетомъ другого типа мъщанства, мъщанства, еще находящагося какъ бы въ потенціальномъ состоянін. Въ своемъ «Затишьи» (1854 г.) онъ ръзко высмъялъ разсудительнаго и приличнаго мъщанина Астахова, безапелляціонно заявляющаго, что «въ наше положительное время всякій порядочный человікь должень быть положительнымъ и аккуратнымъ» (VI, 87; см. 75-76 и др.); въ своей «Несчастной» (1868 г.) онъ еще ядовитье обрисовываеть плоскаго мъщанина Фустова, съ его девизомъ: «не забывай себя, не волнуйся, умъренно трудись!» (VII, 200, 201, 277, 284). Такихъ мѣщанъ Тургеневъ не терптлъ; самое существование такого мъщанства онъ могъ объяснить только безволіемъ и дряблостью толиы лишнихъ людей; «житье дуракамъ между трусами», говорилъ онъ (по другому поводу), точно также житье мъщанамъ между лишними людьми.

Но воть настали семидесятые годы, героизмъ ксторыхь быль въ общемъ не по душт Тургеневу; къ тому же онъ чутко уловилъ втянія «лавризма», втяніе новой струи, въ которой онъ и не подозртвалъ наличности мты

щанства, и которая была ему глубоко симпатична, такъ какъ онъ видълъ въ ней нарождение новаго течения въ въ противовъсъ героизму, течения честнаго, трезваго, не утопическаго. Онъ написалъ тогда свой послъдний романъ—«Новь» (1877 г.).

Еще гораздо раньше, а именно въ романъ «Наканунъ» (1859 г.), Тургеневъ полу-сочувственно отнесся къ двумътремъ типамъ, не лишеннымъ явныхъ элементовъ мъщанства. Таковъ у него «сочувственникъ» Берсеневъ, этотъ «добросовъстно-умъренный энтузіастъ, истый представитель тъхъ жрецовъ науки, которыми, — нътъ, не которыми, — коими столь справедливо гордится классъ средняго русскаго дворянства», по мъткому опредъленію шалопая Шубина; таковъ у него отчасти и манекенный Инсаровъ, сухая, безцвътная, но громадная и умъло направленная сила (II, 241 и 274). Въ «Нови» Тургеневъ пожелалъ придать Инсарову тъло и душу и идеализировать эту реальную фигуру; въ результатъ получился своеобразный homunculus, революціонный постепеновецъ, представитель этическаго мъщанства — Соломинъ.

Соломинъ - главный герой послъдняго тургеневскаго романа, положительный типъ; стоящій на первомъ планъ лишній человъкъ Неждановъ, пытающійся «ходить въ народъ», еще более оттеняеть своимъ безсиліемъ и шатаніемъ мысли всё положительныя стороны излюбленнаго героя Тургенева. И Тургеневъ не видить, что его геройчистой крови мъщанинъ, не менъе ясный и опредъленный, чёмъ разные Астаховы, Фустовы и tutti quanti! Несомнънно, что Тургеневу и въ голову не приходило этимъ своимъ романомъ реабилитировать мѣщанство; напротивъ, онъ попрежнему осуждаетъ явную мъщанскую узость революціонера Маркелова и съ слишкомъ очевиднымъ презръніемъ осмъиваетъ мъщанство тайнаго совътника, камергера и будущаго министра Сипягина (IV, 26, 290 и др.), такъ, что всемъ мещанскимъ сестрамъ достается по серьгамъ. Идеализація Соломина не есть апологія міщанства, это просто несчастная аберрація зрінія, ошибка Тургенева, не умъвшаго предвидъть ходъ развитія русской интеллигенціи въ восьмидесятыхъ годахъ, на рубежѣ которыхъ онъ умеръ.

Его Соломинъ - типичный восьмидесятникъ по типу и по духу, яркій представитель возрождающагося міщанства, родственникъ всёхъ Штольцевъ и Адуевыхъ. Правда, онъ революціонеръ, но революціонерство его такое мягкое, такое неуловимое, что вполнт логично вырождается на глазахъ читателя въ постепеновство. «Этоне героп, -- заявляетъ устами Паклина Тургеневъ, -- это -кръпкіе, сърые, одноцвътные, народные люди. Теперь только такихъ и нужно!» (IV, 296-297). Это не апологія м'єщанства, но удивительная близорукость Тургенева... Чёмъ же проявляеть себя этотъ народный герой? Онъ завелъ школу и больницу при фабрикъ (IV, 111) и устроилъ въ Перми заводъ на артельныхъ началахъ (IV, 293) — больше онъ ничъмъ не проявляеть себя... Кромѣ того, онъ обладаетъ еще слъдующими достоинствами: говорить дъльно, въско, коротко, обладаеть вполнъ безличной внъшностью, проповъдуеть теорію постепеновства; вообще, «уравновъшенный характеръ» (IV, 109, 107, 179, 142, 219, 158 и др.). Быть можеть, нигдъ такъ ясно не сказывается его сугубое мъщанство, какъ въ единственномъ его принципіальномъ разговоръ съ Маріанной, такъ напоминающемъ знакомыя намъ уговариванія Ольги Штольцемъ. Маріанну, также какъ Ольгу, душить жизнь, она ищеть ея смысла, цёли; Соломинъ, также какъ Штольцъ, виляеть вокругъ да около вопроса, не умъя развязать его узель. Конечно, его мъщанство и мъщанство Штольца не вполнъ тождественны: Штольцъ проповъдывалъ покорность передъ жизнью, Соломинъ рекомендуетъ постепеновство, но эти два пункта не такъ ужъ далеко отстоять другь оть друга. Маріанна ищеть смысла и цёли жизни, ищетъ цёльнаго міровоззрёнія, а Соломинъ допекаетъ ее своей дёльной, въской, но отнюдь не короткой ръчью; «...вотъ вы сегодня какую-нибудь Лукерью чему-нибудь доброму научите; и трудно вамъ это будетъ, потому что нелегко понимаетъ Лукерья и васъ чуждается...; а недъли черезъ двъ или три вы съ другой Лукерьей помучитесь; а пока-ребеночка вы помоете, или азбуку ему покажете, или больному лъкарство дадите... Вы будете чумичкой горшки мыть, щипать куръ... А тамъ, кто знаетъ, можеть быть, спасете отечество!» (IV, 219-220). И этотъ самодовольный и туповатый проповёдникъ — главный герой Тургенева и русской интеллигенціи! И эта проповёдь малыхъ дёлъ оказывается основной частью міровозэрёнія!

Подробите знакомиться съ Соломинымъ намъ не къ чему, такъ какъ насъ онъ интересуетъ не самъ по себъ, а какъ предтеча людей восьмидесятыхъ годовъ; мы хотёли показать только, что тусклое и строе настроеніе, ознаменовавшее восьмидесятые годы, надвигалось на русское общество мало по малу еще съ шестидесятыхъсемидесятыхъ годовъ. Многіе предчувствовали это грядущее бъдствіе, многіе боролись съ прошлымъ мъщанствомъ: съ этой точки зрънія интересны статьи П. Ткачева: «Люди будущаго и герои мъщанства», «Идеалисть мъщанства», «Уравновѣшенныя души» (въ журналѣ «Дѣло» 1868 г., № № 3-5 и 1877 г., № № 1-4). Наступленіе этихъ тяжелыхъ годовъ съ пророческой ясностью предвидёлъ Михайловскій, предсказавшій и дикій шовинизмъ выродившихся славянофиловъ, и общій разбродъ мысли этихъ печальной памяти восьмидесятыхъ годовъ (см., напр., Сочиненія, IV, 433, и V, 621). Событія, въ родѣ цареубійства 1-го марта, ускорили реакціонное движеніе общества къ мъщанству, такъ какъ они сопровождались и правительственной реакціей.

IV.

Пастали восьмидесятые годы, настала эпоха общественнаго мёщанства. О правительственной реакціи мы умолчимъ: мы можемъ обойти ее совершенно свободно, такъ какъ въ этой области восьмидесятые годы не сказали ничего новаго, а только повторили основныя черты эпохи оффиціальнаго мёщанства; чтобы покончить разъ навсегда съ этой стороной вопроса, скажемъ только, что эта вторичная эпоха оффиціальнаго мёщанства продолжалась почти четверть вёка и оказалась, такимъ образомъ, гораздо продолжительнёе эпохи общественнаго мёщанства, продолжавшейся, во всякомъ случать, не болте десяти лётъ. Это общественное мёщанство намъ особенно интересно и на него мы обратимъ главное вниманіе.

Сощли со сцены сильные люди шестидесятыхъ п семидесятыхъ годовъ и вмёстё съ ними исчезъ тотъ «духъ протеста», который, по словамъ Глъба Успенскаго, всегда является главнымъ тормазомъ реакціи; протестующій звукт уже самъ по себъ есть препятствіе насилію, вотъ почему легче варъзать безгласную рыбу, чъмъ отчаянно кричащую курицу: «Вотъ что значитъ протестъ, хотя бы и на куриномъ языкъ!..» Но даже такого куринаго протеста не имъли силы высказать восьмидесятники; они предпочли роль безгласной рыбы, щедринскаго «премудраго пискаря». Неудивительно, что русская жизнь этихъ годовъ получила самый странный, самый нелѣный колорить и была воплощеннымъ противортчемъ законамъ элементарнъйшей общественной этики и логики. «Живые притаились въ могилахъ; мертвые самочинно встали изъ, гробовъ и ходять по стогнамъ, стуча костями. Кладбищенское волшебство замънило здоровую, реальную жизнь», такъ характеризовалъ эту эпоху общественнаго мъщанства великій русскій сатирикъ (Салтыковъ, Сочиненія, изд. 1892 г.; VI, 370). Это «волщебство», это отсутствіе этики и логики, еще сильнъе подчеркнулъ Глъбъ Успенскій. «...Первая и вторая посылки силлогизма всегда у насъ хороши, правильны, — иронизируеть онъ, — но заключение — Богъ знаетъ что!» Напримъръ: артельное начало въ кругу рабочихъ предохраняетъ отъ пролетаріата. Распространеніе поэтому въ массъ идеи товариществъ заслуживаетъ всякаго одобренія, а заключеніе изъ этихъ посылокъ выходить всегда вотъ такое: «ежели ты будень объ этакихъ вещахъ разговаривать, такъ берегись!...» И мъщане - восьмидесятники береглись: они перестали разговаривать не только объ артельномъ началъ, но и о гораздо болъе абстрактныхъ вещахъ: о законъ, о личности, объ этикъ, о правъ. Все это поросло травой забвенья. Взамёнъ этого махровымъ цвътомъ распустились такіе цвъточки, какъ постепеновство, самосовершенствование и добровольное принижение личности.

Какъ шестидесятые годы почти вполнт отразились въ «Современникт» и «Русскомъ Словт», какъ міровоззртніе семидесятыхъ годовъ ярче всего выразилось въ «Отечественныхъ Запискахъ», такъ пастроеніе восьмидесятыхъ

годовъ мы найлемъ въ «Недълъ» и въ «Новомъ Времени». Въ первой отразилась вся растерянность русской интеллигенціи, потерявшей дорогу и пытающейся найти спасеніе въ проповъди добродътельнаго бюрократизма, какъ панащей отъ всъхъ золъ; во второмъ нашли себъ пріютъ подонки русской мысли, начавшіе проповъдь безпринцинности и человъконенавистничества. Характерна не сама эта проповъдь—гдъ и когда ея не бывало!— а полиъйшій успъхъ этой проповъди; одно это уже показало, какъ низко пало русское «культурное» общество. Мы не имъемъ возможности подробнъе остановиться на этой печальной, но поучительной страничкъ изъ исторіи русской журналистики и коснемся ея только вскользь, обратившись для этого къ Салтыкову.

Великій русскій сатирикъ въ эту эпоху допъвалъ своп лебединыя пъсни и создаваль такія удивительныя вещи, какъ «Господъ Головлевыхъ», «Сказки» и «Пошехонскую Старину». Онъ не могь не откликнуться на всю растерянность мысли, на всю печальную узость русской мысли восьмидесятыхъ годовъ и сдёлался рёзкимъ сатирикомъ эпохи общественнаго мъщанства, такъ же какъ его геніальный предшественникъ, Гоголь, былъ сатирикомъ эпохи мъщанства оффиціальнаго. Въ сущности, Салтыковъ все время былъ сатирикомъ мъщанства, принимавшаго разнообразныя формы; въ восьмидесятыхъ годахъ объектъ сатиры только определился резче. Прежде, въ началъ семидесятыхъ годовъ, Салтыковъ высм'вивалъ ум'вренный и аккуратный мъщанскій либерализмъ, пріютившійся на столбцахъ « Всероссійской Старъйшей Пънкоснимательницы» (т. е., «С.-Иетербургскихъ Въдомостей», редакціи Корша), съ ея девизомъ: «наше время—не время шпрокихъ задачъ» (Салтыковъ, Сочин., IV, 316). Восьмидесятые годы пошли дальше. Газета «Чего изволите?», alias газета «Помои», издаваемая «литераторомъ» Подхалимовымъ, alias Иваномъ Непомнящимъ, называетъ убъжденія абракадаброю, и во всеуслышание заявляеть, что «ни завтра, ни послѣзавтра не намърена стъснять себя никакими узами» (Ibid., V, 243, 468 — 9). Воть онъ-широкій индивидуализмъ восьмидесятыхъ годовъ! Полхалимовъ понялъ, замъчаетъ Салтыковъ, что настало время мутное и мелкое, когда «мелочи, мелочи, мелочи заполнили всю жизнь», когда «ни принципы, ни руководящіе идеалы — не ко двору» (Ib., V, 12; VI, 327-8); въ этомъ сознаніи в рно почятаго положенія дёль онь съ наглой увёренностью восклицаетъ: «печать-то, въдь, --сила! Такъ ли, отче?» (VI, 309 — 335). Да, такой силы, такого индивидуализма

было немало въ восьмидесятыхъ годахъ...

Но оставимъ въ сторонъ газету «Чего изволите?» съ ея проповъдью безпринципности и наглости; обратимся лучше къ другой части русскаго общества, которая, въ общемъ, стояла все-таки выше всёхъ Подхалимовыхъ и Пвановъ Непомнящихъ. Эта другая, лучшая часть погрязала въ восьмидесятыхъ годахъ въ самомъ мизерномъ и умфреннтишемъ либерализмт, въ томъ «птико-снимательствъ», которое Салтыковъ осмъивалъ и раньше. Панацеей оть всёхъ общественныхъ золь эти «либералы» (какая профанація слова!) считали доброд'єтельный м'єщанскій бюрократизмъ; отъ каждаго интеллигентнаго человъка они требовали слъдующаго обязательства: «я, имя рекъ, объщаюсь и клянусь взятокъ не брать, въ карты не играть, не пьянствовать, у начальства не подслуживаться, дёло мнё порученное исполнять быстро и добросовъстно, по мъръ монхъ силъ и разумънія» — и тогда Россія процвътеть, яко кринь сельный... Какая ядовитая насмъшка, неправда ли, читатель? Но вы напрасно будете искать вышеприведенной фразы во всёхъ двёна. дцати томахъ собранія сочиненій Салтыкова: фраза эта взята изъ «Недѣли» и составляетъ часть вполнъ серьезнаго символа въры любого восьмидесятника! Вотъ съ такимъ плоскимъ либерализмомъ и сражался Салтыковъ, обрушиваясь на него всёми силами своего сарказма. «...Нало «дъло» дълать -- вся задача въ этомъ состоитъ» -пронизируетъ онъ (Ib., VI, 519): въдь, это общій девизъ встхъ мъщанъ, такъ какъ буквально эти же слова мы слышали отъ дядюшки Адуева, Штольца и услышимъ еще отъ чеховскаго профессора изъ «Дяди Вани». Мы только-что видёли, въ чемъ заключается это «дёло». А затъмъ, кромъ этого дъла—the rest is silence, ибо вполнъ достигнутъ катковскій идеаль, такъ рельефно формулированный Михайловскимъ: «безотрадная, безбрежная пустыни, гдъ только изръдка, среди всеобщаго безмолвія, раздаются крики: Караулъ! Держи!.. Ура!..» Этотъ же идеаль, вполнъ осуществившійся въ эпохъ общественнаго мъщанства, Салтыковъ очерчиваетъ слъдующими словами: «мыслить не полагается! добрый же сынъ отечества обязывается предаваться установленнымъ тълеснымъ упражненіямъ и затъмъ насыщаться, переваривать и извергать. Всякій же, кто обнаружитъ попытку мышленія, будеть яко пособникъ, укрыватель и соучастникъ злодъйскихъ замысловъ (Іь., VIII, 567). Неужели мы такъ и останемся при этихъ хлъвныхъ идеалахъ? — съ отчаяніемъ восклицалъ сатирикъ (это было въ 1881 году).

V.

И во всемъ этомъ нътъ преувеличенія. Не говоримъ уже о томъ моръ патологическаго мракобъсія и мъщанства, которое разливалось въ «Русскихъ Въстникахъ», «Московскихъ Въдомостяхъ» и тому подобныхъ катковскихъ «литературныхъ клоповникахъ», по выраженію того же Салтыкова; но развъ и проповъдь нашихъ «пънкоснимателей» изъ «Недёли» далеко ушла отъ такихъ идеаловъ? Конечно, у нихъ все это не было такъ ръзко, такъ дубово, — недаромъ же они во всемъ проповъдывали умъренность и аккуратность; но отъ этого существо дъла не мёнялось. Та проповёдь «примиренія съ дёйствительностью», «реабилитацін дійствительности», которой въ это время усиленно занимались «пѣнкосниматели», не есть ли именно проповёдь хлёвныхъ идеаловъ? Надо брать отъ жизни только то, что она сама даетъ; надо удовлетворяться наличными общественными отношеніями, намятуя, что лбомъ стёны не прошибешь; съ этой стёной надо примириться и «дёлать дёло» только въ отгороженномъ ею пространствъ-вотъ къ чему сводилась эта проповъдь: можно думать, что именно такъ разсуждала бы, сиди въ хлъву, каждая самодовольная свинья, обладай она даромъ разумънія, хотя бы въ той степени, въ какой обладали имъ «пънкосниматели»... Эти пънкоснимателивосьмидесятники не понимали знаменитой фразы Милля, что лучше быть несчастнымъ челов комъ, чъмъ довольной свиньей, лучше разбить лобъ объ ствну, пытаясь пробить дорогу, чёмъ сложить руки въ бездействіи и удовлетвориться узкой и тусклой жизнью. А восьмидесятники ею удовлетворялись, они мало по малу привыкли къ атмосферъ приниженности, рабства, трепетанія.

Прежде россійскій либераль-доктринерь шестидесятыхъ годовъ и либералъ-пенкосниматель семидесятыхъ годовъ говаривалъ довольно-таки смёло: «коли я ничего не сдёлалъ, стало быть, и бояться мнѣ нечего»; въ восьмидесятыхъ годахъ онъ сталъ способенъ только трепетно воскли. цать: «чего изволите?» и «какъ прикажете» (Ib., VI, 229). Это «какъ прикажете» не есть ли вполнъ тождественное повтореніе девиза «примиреніе съ дъйствительностью», nur mit bischen andern Worten? Правда, не всѣ восьмидесятники согласились стать подъ это знамя; мы должны сь уваженіемъ вспомнить «Русскія Въдомости», «Русскую «Вѣстникъ Европы», либерализмъ которыхъ Мысль» и никогда не былъ запачканъ примиреніемъ съ дѣйствительностью, т. е., принятіемъ девиза «какъ прикажете»; но этихъ болъе или менъе стойкихъ либераловъ было такъ мало, что не они характеризовали собою эту эпоху общественнаго мъщанства. Большинство же состояло изъ тъхъ «либераловъ» въ кавычкахъ, которые готовы были поступиться своимъ либерализмомъ за чечевичную похлебку; еще большая часть были тёми «либералами»-постепеновцами, о которыхъ Салтыковъ сложилъ свою остроумную и злую сказку («Либералъ»; Ib., VI, 124-129). Никогда и ничего они не рисковали требовать въ полной мъръ, а сначала «по везможности» затъмъ «хоть что-нибудь», и, наконецъ, «примънительно къ подлости». Такъ постепенно катились они по наклонной плоскости; наконецъ, «идеаловъ и въ номинъ ужъ не было-одна мразь осталась, а либералъ все-таки не унывалъ: что-жъ такое, что я свои идеалы по уши въ подлости завязилъ? Зато я самъ, яко столнъ, невредимъ стою!»

И стоить такой либераль въ трясний мищанства восьмидесятыхъ годовъ и занимается самосовершенствованіемъ либерализму на славу, общественному мищанству на утишение и самому себи на пользу. Стоить незыблемо, а втихомолку трепещетъ: слово «реформы» приводить его

въ ужасъ, ибо онъ жаждетъ покоя; самое слово «реформы» ему пріятнъе замънить терминомъ «регламентація», а еще лучше-«постепенное, при содъйствіи околоточныхъ надзирателей, благопосившение». Поэтому интеллигентъ-восьмидесятникъ настолько скроменъ и тихъ, что даже въ участкъ, въ графъ «чъмъ занимается» про него пишутъ-«всего опасается» (Ів., VI, 257, 363). Это все тоть же «пискарь премудрый», который сто лёть сидёль въ норъ и дрожалъ, какъ бы его щука не слопала, и все-таки считалъ себя достойнымъ гражданиномъ; у него уже не могло хватить смълости, какъ у семидесятника, карася-идеалиста, гаркнуть щукъ прямо въ глаза: «знаешьли ты, щука, что такое добродътель?...» Но за эту продерзость карася щука слопала, а пискарь за свое смиренство получилъ право всю жизнь дрожать въ своей норъ. Наивные и утопическіе порывы семидесятника-карася были чужды умфренному и аккуратному пискарю-восьмидесятнику, и Салтыксвъ въ одной изъ последнихъ главъ своихъ «Недоконченныхъ бесъдъ» (1884) немногими словами великолепно очерчиваеть мещанские идеалы наступающаго десятилътія: «резонность п солидность вотъ лозунгъ настоящаго... Sursum corda! что это такое? зачъмъ? по какому случаю? развъ гдъ-нибудь горить? То ли дёло: поспёшишь - людей насмёшишь! туть, по крайней мерь, реальный прівмъ слышится... Пора и образумиться; пора понять, что при извъстныхъ условіяхъ прежде всего о томъ памятовать надлежить, что маленькая рыбка лучте, нежели большой тараканъ. Это нынче всъ говорятъ. И прежде говорили, но машинально, по привычкъ; а нынче-съ толкомъ, съ чувствомъ, съ разстановкой» (Ib., VI, 518).

Такъ характеризовалъ эпоху восьмидесятыхъ годовъ нашъ замѣчательный сатирикъ, быть можетъ, одинъ изъ ожесточеннѣйшихъ, послѣ Гоголя, ненавистниковъ мѣщанства. Мы сейчасъ постараемся разобраться въ общей картинѣ эпохи общественнаго мѣщанства, нарисованной Салтыковымъ, но сперва скажемъ еще два слова о нѣкоторыхъ его взглядахъ, не касающихся непосредственно эпохи восьмидесятыхъ годовъ, по имѣющихъ значеніе для вопроса объ индивидуализмѣ. Салтыковъ былъ соре-

дакторомъ Михайловскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», и нетрудно было бы прослъдить несомнънное вліяніе замъчательнаго публициста-семидесятника на Салтыкова въ области теоретическихъ вопросовъ: достаточно сравнить многія мъста изъ «Благонамъренныхъ ръчей» Салтыкова (1872—1876 гг.) со статьями Михайловскаго той же эпохи (см. особенно «Литературныя и журнальныя замътки», 1872—1874 гг., «Дневникъ» и «Переписку» Ивана Непомнящаго, 1874—1875 гг. и др.). Здъсь мы поставлены въ необходимость ограничиться указаніемъ на наличность факта, и только въ общихъ чертахъ отмътимъ основные взгляды Салтыкова на государство,

націю, народъ и личность.

Къ государству, какъ таковому, Салтыковъ относился явно отрицательно, настолько отрицательно, что почти буквально повторяль знаменитое сравнение К. Аксакова, по которому государство есть наростъ коры на народной сердцевинъ; вліяніе бакунизма на критическое народничество было, вообще говоря, несомнъннымъ. Государство терпимо лишь постольку, поскольку оно охраняеть индивидуальность, а. между темъ, на Западъ, говоритъ Салтыковъ, государственная регламентація доведена до послъдней степени, «представительными собраніями издано великое множество Положеній, которыя до мельчайшихъ подробностей опредъляють отношенія индивидуума къ государству»; западная наука также доказываетъ, что внъ государства нътъ спасенія, такъ что въ благословенныхъ странахъ Запада проблема индивидуализма получила уже твердое и непререкаемое ръшение. Но Салтыковъ не въритъ въ такое полюбовное соглашение государства съ индивидуумомъ и утверждаетъ, что въ Европъ идею государственности поддерживаеть нація минусь народъ (терминологія Михайловскаго), т. е., иными словами, буржуазія, изъ-за своихъ личныхъ выгодъ, въ то время какъ народъ совершенно равнодушенъ къ этой идеъ. Зато у «буржуа-государство не сходить съ языка», независимо отъ того, кто этотъ буржуа по своимъ политическимъ возарѣніямъ (Ib., IV, 495, 500, 501).

Про Россію Салтыковъ не могъ выражаться столь же опредъленно, во первыхъ, по цензурнымъ условіямъ, а

главное — по причинъ недостаточной дифференцированности различныхъ классовъ и слоевъ общества; но все же ясно, что онъ не принадлежить къ сторонникамъ идеи государственности, къ гуверменталистамъ: Впрочемъ, добрая половина нашихъ «культурныхъ людей» ерядъ ли понимаеть, что такое государство», ибо «одни смъщивають его съ отечествомъ, другіе - съ закономъ, третьи - съ казною, четвертые - громадное большинство - съ начальствомъ». Эти культурные люди, а върнъе - «дикари высшей культуры», не задаются проклятыми вопросами; если ихъ спросить: «какую же роль играетъ государство въ смыслъ развитія и преуспъянія индивидуальнаго человъческаго существованія?» -- то они отвётить только «несмысленнымъ бормотаніемъ» и растеряннымъ видомъ; если же отвътять членораздъльной ръчью, то только въ стилъ салтыковскаго Генички (изъ «Мелочей жизни»), типичнаго чинуши-восьмидесятника: «государство — это все, - ораторствуетъ Геничка; - наука о государствъ - это современный палладіумъ. Это-цълое върованіе. Никакой отдёльный индивидуумъ немыслимъ внѣ государства» (Ib., VI, 482; V, 111 п др.). А что же отвътять настоящіе интеллигенты, критически мыслящія личности? Они дали свой посильный отвъть въ семидесятыхъ годахъ и ушли временно со сцены въ эпоху торжествующаго общественнаго мъщанства. Такимъ семидесятникомъ былъ и Салтыковъ, а потому его ръшение проблемы индивидуализма вполнъ совпадаетъ съ ръшеніемъ, даннымъ критическимъ народничествомъ.

VI.

Возвращаемся, однако, къ характеристикъ восьмидесятыхъ годовъ. Не будемъ больше обращаться къ художественной литературъ, которая могла бы насъ снабдить еще богатъйшимъ матеріаломъ по характеристикъ этой эпохи общественнаго мъщанства; вирочемъ, мы еще коснемся этого, говоря о Чеховъ п М. Горькомъ. Опредъляя же восьмидесятые годы по существу, мы скажемъ, что эпоха общественнаго мъщанства, какъ это уже было отмъчено выше, стояла на трехъ китахъ—на теоріи ма-

лыхъ дёлъ, на постепеновствё и на самоусовершенствованіи.

Здёсь передъ нами убъдительнъйшій примъръ того. какъ индивидуализмъ, доведенный до своихъ крайнихъ предъловъ, неизбъжно впадаетъ въ мъщанство. Казалось бы, что и теорія малыхъ дёлъ и самосовершенствованіе ярко индивидуалистическіе принципы; д'вйствительно, в'бдь, теорія малыхъ дёль есть не что иное, какъ утрированный принципъ блага реальной личности. Идеалы и убъжденія неизбъжно приводять къ теоретичности — утверждали восьмидесятники: - долой ихъ, и давайте «дёло дёлать», хотя бы маленькое, незамътное дъло, но которымъ мы можемъ принести дъйствительное благо нашему ближнему; «любовь къ ближнему», а не «любовь къ дальнему» должна всегда стоять впереди. Нетрудно видъть въ этомъ ночти буквальное повторение того, что въ свое время говорили и Писаревъ, и Михайловскій: мы знаемъ, что первый также отрицаль общіе идеалы и убънденія и пропов'ядывалъ теорію малыхъ дёлъ и самосовершенствованіе, а второй усиленно настаиваль на принципъ блага реальной личности; но, несмотря на все это, и Михайловскій, и Писаревъ были яркими индивидуалистами, а восьмидесятники были явными мъщанами. Это показываеть, что отъ Капитолія до Тарпейской скалы, отъ индивидуализма къ мѣщанству всего одинъ шагъ. Ультрапндивидуалиста Писарева спасала отъ мѣщанства прежде всего широта его міровоззрѣнія, во главу угла котораго онъ не клалъ ни самосовершенствованія, ни теоріи малыхъ дёлъ. Писаревъ вёрилъ во всесиліе интеллигенціи, восьмидесятники върпли во всесиліе полиціи; поэтому Писаревъ проповъдывалъ самосовершенствование п теорио малыхъ дёлъ, какъ одинъ изъ путей достиженія цёли, а восьмидесятники, реабилитируя дёйствительность, толк. лись со своимъ самосовершенствованіемъ на одномъ мъстъ. Самосовершенствование для самосовершенствованияэто въ высокой степени ультра-индивидуалистическій принципъ, вслъдствіе своей узости ввергнувшій восьиндесятниковъ въ самое безпросветное мещанство, также какъ и теорія малыхъ дёлъ. Эта же проповёдь самосовершенствованія не привела къ м'єщанству ни Достоевскаго, ни Л. Толстого, такъ какъ безпредъльная широта ихъ міровоззрѣній не довела до Тарпейской скалы ихъ индивидуализмъ.

Итакъ, здъсь надо различать: il y a fâgots et fâgots, есть самосовершенствование индивидуалистическое и есть самосовершенствование мъщанское; то же можно повторить и про теорію малыхъ дёлъ, и про постепенство. Крайность есть узость, а узость есть міщанство: это надо всегда помнить. Намъ не хотълось бы однако, чтобы насъ приняли за проповъдниковъ златой середины, умъренности и аккуратности: читатель имълъ достаточно случаевъ убъдиться, что именно въ этой серединности, умъренности и аккуратности мы видимъ центръ мъщанства. Возьмемъ кстати эти умъренности и аккуратность, чтобы выяснить вопросъ о границахъ ультра-индивидуализма и мъщанства. Умъренность и Аккуратность — это, какъ извёстно, двё бобылки, проживающія на задворкахъ добродътельскихъ селеній и потихоньку водящія знакомство съ Пороками, которымъ онъ разводять въчную канитель: «номаленьку-то покойнте, а потихоньку втрите» (Салтыковъ; «Сказки», VI, 31); однимъ словомъ, это такія добродътели, съ которыми неизбъжно придешь къ картофельной нравственности и къ морали рабовъ. Конечно, отсюда не следуеть, что неаккуратность и неумеренность не приведуть насъ къ мъщанству; русская «широкая натура», это типичное отрицание картофельныхъ добродътелей, является въ то же время вполнъ мъщанскимъ явленіемъ, ибо широкій рагмахъ, широта этой натуры ограничены весьма узкими границами. Мы не предлагаемъ выбирать златой середины между умъренностью и неумфренностью (понятія эти мы прилагаемъ, конечно, къ области пдеологій), а указываемъ, что оба эти пути вследствие своей узости приводять къ мъщанству. Похвально быть аккуратнымъ — это извъстно еще изъ прописей, еще похвальные быть умъреннымъ, до объ эти добродътели, поставленныя во главу угла, ностойны только Молчалина. Короче говоря, лишь только мы возведемъ умфренность и аккуратность въ принципъ, какъ тъмъ самымъ мы немедленно впадемъ въ мъщанство.

Вуквально то же самое можно повторить о самосовершенствованін, теоріи малыхъ дёлъ и постепеновстве, объ этихъ коренныхъ добродътеляхъ восьмидесятыхъ годовъ: вст они живутъ на задворкахъ индивидуализма и въ тъсной связи съ мъщанствомъ. Конечно, отсюда вовсе не слъдуеть, что самосовершенствование-предразсудокъ, что надо создать «теорію великихъ дёль», что на мёсто постепенности надо поставить теорію катастрофъ: оба эти нути ведуть къ мъщанству, лишь только будутъ возверены въ принципъ. Восьмидесятые годы возвели самосовершенствованіе, теорію малыхъ дёлъ и постепеновство въ принципъ, положили ихъ во главу угла, и темъ самымъ впали въ безпросвътное мъщанство. Въ этомъ была ихъ ошибка, въ этомъ было ихъ несчастіе. Конечно, необходимо, самосовершенствоваться, но не менъе необходимо не класть такое самосовершенствование въ основу всей системы взглядовъ; надо, конечно, дълать и «малыя дъла», но узко и плоско возводить это въ теорію; постепенность развитія заслуживаетъ полнъйшаго вниманія, но возведя его въ норму практической дъятельности, мы тъмъ самымъ добровольно связываемъ себъ руки. Дълайте «малыя дъла». а, значить, не берите взятокъ, исполняйте честно и добросовъстно свою чиновничью службу, но не утверждайте. что въ этомъ-панацея отъ всёхъ общественныхъ золъ, не ограничивайте этимъ все свое міровоззрѣніе, — такъ можно было сказать мъщанамъ-восьмидесятникамъ и повторить то же самое о самосовершенствовании и постепеновствъ. Самосовершенствованія требовали величайшіе индивидуалисты - Достоевскій и Л. Толстой, за постепенность ратоваль Герценъ-но онъ не быль постепеновцемъ. «Я нисколько не боюсь слова постепенность, — писалъ Герценъ Бакунину (въ 1869 г.), - постепенность, такъ (же) какъ непрерывность неотъемлемы всякому процессу разумтнія». Слова Герцена неоспоримы, а извращеніе ихъ мелкимъ цѣнкоснимательнымъ либерализмомъ восьмидесятниковъ показываетъ только убогую узость мысли этихъ представителей эпохи общественнаго мъщанства. Наконецъ, «малымъ дёламъ» симпатизировалъ не кто иной, какъ Писаревъ, ихъ не оспаривалъ никто и никогда; мъщанство заключается только въ возведении ихъ въ теорію. Не воруйте носовыхъ платковъ изъ кармановъ, это—истина почтенная и всёми признаваемая; зачёмъ же провозглащать ее съ барабаннымъ боемъ и утверждать, что вся мораль покоится на этой неколебимой основё? Въ этомъ-то и заключается мъщанство.

Таковы были основныя воззрѣнія (обидно профанировать слово «міровоззрѣніе») этой печальной памяти эпохи восьмидесятыхъ годовъ, этой эпохи общественнаго мѣщанства, этой позорной страницы изъ исторіи русскаго «культурнаго» общества... Не хочется останавливаться на этомъ подробнѣе, хотя и не безынтересно было бы углубиться въ темныя дебри журналистики восьмидесятыхъ годовъ и указать читателю на разные Perlen und Diamanten. Впрочемъ, мы указали уже на существеннѣйшес и можемъ проститься съ этой грустной эпохой, затронувъ предварительно еще два пункта, особенно характеризующіе настроенія восьмидесятыхъ годовъ. Мы 10воримъ про эстетивмъ и про толстовство.

VII.

Извъстно, что Марксъ не былъ «марксистомъ», Писаревъ не былъ «писаревцемъ», Лавровъ не былъ «лавристомъ»; точно также и Л. Толстой не быль «толстовцемъ», а если и былъ, то лишь въ томъ каламбурномъ смыслъ, въ какомъ Вольтеръ былъ «вольтерьянцемъ». Этотъ великій мятущійся духъ, про котораго, действительно, можно сказать, что болъе полувъка велъ онъ борьбу самъ съ собою, -- десница съ шуйцей, индивидуализмъ съ анти-индивидуализмомъ, — этотъ великій духъ никогда не приближался къ мъщанству; между тъмъ, толстовство-все въ мъщанствъ, имъ начинается, имъ и кончается. Толстой былъ всегда безконечно широкъ и никогда не застываль на разъ найденной истинъ, не удовлетворялся ею; правда, въ самомъ началъ восьмидесятыхъ годовъ ему показалось, что онъ нашелъ абсолютную, безусловную истину, новое откровение: тогда онъ сталь пророчески въщать, ему стало все ясно, все понятно. Этого было достаточно, чтобы такъ называемое «толстовство» пустило глубокіе корни и распустилось махровымъ цвётомъ. Зерно пало на плодородную мёщанскую почву восьмидесятыхъ годовъ и дало плодъ сторицею, тёмъ болёе, что между принципами «толстовства» и отмёченными выше основными положеніями восьмидесятыхъ годовъ существовала тёсная связь и трогательное единодушіе. Самосовершенствованіе, постепеновство, малыя дёла — все это толстовство нашло уже готовымъ въ окружавшей его атмосферё; къ этому нетрудно уже было прибавить и всё прочіе пункты откровенія Толстого: непротивленіе злу, приматъ морали и т. п. Особенно пышно расцвёлъ якобы индивидуалистическій принципъ внутренней свободы.

Мы знакомы съ этимъ принципомъ: еще Иьеръ Безухій очень веселился при мысли, что французы держать его въ плъну: «поймали меня, заперли меня. Въ плъну держать меня. Кого, меня? Меня? Меня-мою безсмертную лушу! Ха-ха-ха!. Ха-ха-ха!»... Русское общество восьмидесятыхъ годовъ попробовало такъ же отнестись къ вопросу о свободъ: толстовство заявило, что впереди всего стоитъ внутренняя свобода, свобода духа, что индивидуальной духовной свободъ не страшны ни цъпи, ни стъны; въ восьмидесятые годы думать такъ было особенно утъшительно. Но этотъ ультра-индивидуализмъ впадаетъ въ сугубое мъщанство, такъ какъ суживаетъ безмърно идею человёческой личности и считаеть, что неотъемлемыя права личности вполнъ достаточны, и что «отъемлемыя» права человѣка (т. е., внѣшняя свобода)-- пэлишняя роскошь. Условное различіе между реальной личностью и абстрактнымъ человѣкомъ необходимо съ точки зрѣнія методологической, но не надо забывать, что и личность и человикъ — это только двъ половины единой и цъльной человыческой личности; удовлетворяться одной изъ этихъ половинъ — безразлично, какой: «человъкомъ» ли, какъ дълали либеральные доктринеры, личностью ли, какъ дълали толстовцы, — значить преднамъренно суживать человъческую личность и изъ ультра-индивидуализма впадать въ мъщанство. Только гармовичное соединеніе внъшней свободы абстрактнаго человъка и внутренней свободы реальной личности достойно широкаго и глубокаго индивидуализма. не мирящагося съ компромиссами и палліативами и требующаго простора жизни во всю.

Этическіе запросы всегда стояли впереди всего для Толстого, но они обратились въ безплодное и сухое морализированіе въ толстовствъ. «Какъ мнъ жить свято?» этоть мучительный и бользненный вопросъ каждаго изъ кающихся дворянъ всю жизнь преследоваль великаго писателя земли русской; однажды ему показалось, что онъ нашелъ ръшение вопроса, и изъ этого ръшения толстовство сдълало себъ фетиша. Каждое слово, исходившее изъ Ясной Поляны, было словомъ закона, непререкаемаго и безапелляціоннаго; если эти «слова» противоръчили другъ другу, то нужно было только замънить въ свое время одно «слово» другимъ. Сегодня Толстой изрекалъ, что главная задача женщины—дъторожденіе, завтра онъ проповъдывалъ всеобщую дъвственность; сегодня онъ осуждаль денежную помощь, завтра онъ обращался съ воззваніемъ о помощи деньгами голодающимъ — и въ Толстомъ все это было глубоко искренно, глубоко непосредственно: Толстовство благоговъйно воспринимало то, что magister dixit, и возводило въ принципъ каждое слово великаго писателя; то, что было индивидуализмомъ въ Толстомъ, стало мъщанствомъ въ толстовствъ. Опрощеніе, теорія непротивленія злу были не индивидуалистическими, но индивидуальными чертами Толстого; насильственно привитыя п взрощенныя въ атмосферъ восьмидесятыхъ годовъ, они закостентли въ мергвыхъ, узкихъ, плоскихъ, мъщанскихъ формахъ толстовства.

Мъщанство, мъщанство и мъщанство—таковъ тусклый обликъ восьмидесятыхъ годовъ. Прощаясь съ нимъ, мы остановимся еще на одной сравнительно свътлой чертъ этой эпохи, котя и эта черта вмъстъ съ ложкой меда внесла также большую бочку дегтя. Эта ложка меда—возрожденіе эстетики, эта бочка дегтя—вырожденіе эсте-

тики въ эстетизмъ.

VIII.

Эстетику гнали въ шестидесятыхъ годахъ, къ ней были равнодушны въ семидесятыхъ. Правда, семидесятники по-

няли, что сразрушеніе эстетики» — печальное и безнадежное предпріятіе анти-индивидуалистического характера, намъренно (и даже злонамъренно) суживающее личность и воздвигающее преграду между ней и человъкомъ; семидесятники поняли неизбъжность и даже желательность эстетическихъ эмоцій: «развъ нельзя служить истинъ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звъздъ и цвътовъ? -- одиниъ изъ первыхъ семидесятниковъ заявилъ Михайловскій (Собр. соч., VI, 616). Это былъ значительный шагъ впередъ, но дальше семидесятники не пошли: расчистивъ передъ эстетикой широкую дорогу, они сейчасъ же возстали противъ глубины ея содержанія: мы уже знаемъ, что широта и боязнь глубины характеризують собою эту эпоху. Признавъ законность эстетики, семидесятники въ то же время повели жестокую борьбу съ фантомомъ «чистаго искусства», или «искусства для искусства», считая его признакомъ эксцентрическаго періода, симптомомъ подавленія личности. «Искусство для человъка!» также какъ истина для человъка, справедливость для человъка — вотъ девизъ семидесятыхъ годовъ, несомнънно, заслуживающій всяческаго признанія; но, отстаивая его, семидесятники, съ Михайловскимъ во главъ, впали въ ту же самую ошибку, которую мы отмътили у нихъ въ отношевій науки. Возставая противъ узкой спеціализацін, они не вид'єли возможности примирить щироту личности съ ея глубиной и жертвовали последней для вящшаго развитія первой. Но по отношенію къ эстетикъ они внали еще въ другую, гораздо болъе грубую ошибку: они не сумъли разграничить своихъ требованій пъ самимъ диятеляму искусства и къ области ихъ творчества, къ художникамъ и къ чискусству; они не поняли, что только по отношению къ первымъ девизъ «искусство для искусства» заслуживаеть порицанія. Если кто бы то ни было посвящаетъ всю свою жизнь искусству или наукъ-будь онъ Бетховенъ, Кантъ, Ньютонъ, все равно, - то какъ бы ни «глубоко» онъ жилъ, до какихъ бы глубинъ творчества не дошелъ, онъ узокъ, онъ не «весь человъкъ», онъ только спеціалисть, узостью своей приближающійся къ мъщанству. «Искусство для искусства» по отношенію къ самому человъку заслуживаетъ несомнъннаго осужденія, и во этомо смыслю мы солидарны съ семидесятниками: да, искусство для искусства, наука для науки во этомо смыслю недостойны широкой человъческой личности, въ этомъ смыслъ они вполнъ анти-индивидуалистичны.

Но семидесятники стали на совершенно ложную почву, осуждая искусство для искусства по отношенію къ области творчества. Надъ содержаніемъ искусства властенъ только художникъ, и въ этомъ случав отрицаніе чистаго искусства есть подавленіе личности и сугубый анти-индивидуализмъ. Семидесятники требовали тенденціознаго искусства; девизъ «искусство для человъка» значилъ для нихъ искусство, трактующее исключительно или главнымъ образомъ о человъкъ, его горестяхъ, печаляхъ, страданіяхъ и радостяхъ; отсюда ихъ безразличное отношение къ мувыкъ, отрицательное отношение къ пейзажу и положительное отношение къ жанру (вспомнимъ, что именно къ семидесятымъ годамъ относится апогей вліянія и славы передвижниковъ). Чистое, не тенденціозное искусство невозможно, часто заявляль Михайловскій (напр., І, 121, 135 и др.), но онъ никогда не пробовалъ показать, какая тенденція можеть заключаться, напримъръ, въ симфонін; подъ «чистымъ искусствомъ» онъ понималь обзективное искусство (напр., I, 122 — 3; III, 646; V, 536 и др.), и въ этомъ его сугубая ошибка, такъ какъ чистое искусство, наобороть, въ высокой степени субъективно, и чемъ «чище», тымь субъективные.

Понимать искусство на манеръ семидесятниковъ, значитъ впадать въ совершеннъйщую плоскость и не сознавать полной независимости эстетическихъ эмоцій отъ какихъ бы то ни было дисциплинъ; конечно, говоря о независимости, мы не отрицаемъ возможности связи. Мы принимаемъ формулу «искусство для человъка» и по отношенію къ области творчества, и по отношенію къ дъятелямъ творчества, но понимаемъ ее гораздо шире и глубже. Да, «искусство для человъка» — это долженъ помнить каждый дъятель искусства; это значитъ, что онъ долженъ быть человъкомъ, а не только рабомъ искусства; это значитъ, что онъ долженъ быть не только глубокъ (спеціализація), но и широкъ (энциклопедичность); что та область, тоторой онъ себя посвятилъ, не должна поглощать его

всего; что опъ прежде всего живая человъческая личность, а уже потомъ художникъ; что въ своей области онъ долженъ работать главнымъ образомъ, но не исключительно; что, наконецъ, суббота для человъка, а не человъкъ для субботы. Но въ своей области онъ долженъ быть полнымъ хозниномъ, и если онъ истинный художникъ. то никогда онъ не унизится до тенденціознаго искусства; чистое искусство только одно возможно и желательно, и такое чистое искусство будетъ именно «искусствомъ для человъка», искусствомъ на потребу человъку, ибо только такое искусство будетъ воплощеніемъ красоты.

Красота — этого слова не понимали и не хотъли понимать въ шестидесятыхъ и въ семидесятыхъ годахъ; но все-таки мы видъли, что семидесятники сдълали одинъ шагь впередъ: трудъ есть или долженъ быть наслажденіемъ, говорилъ вслъдъ за Чернышевскимъ Писаревъ (Сочин., V, 204); «развѣ нельзя служить истинѣ и справедливости и въ то же время любоваться красотой звъздъ и пвътовъ?...» отвътилъ Михайловскій (Сочин., VI, 616), и, разумъется, онъ былъ правъ. Но почему же въ такомъ случать нельзя любоваться красотой произведеній «чистаго» искусства — красотой переливовъ тоновъ картины, красотой переливовь звуковъ симфонической поэмы, изображающихъ ту же звъздную ночь? Въ настоящее время все это-трупамы, но для семидесятниковъ трупамы эти считались величайшей ересью; семидесятники не видёли, что эстетика занимаеть равноправное мъсто рядомъ съ этикой и логикой, что не только истина и справедливость, но и красота составляють все содержание жизни реальной личности. Правда-истина, правда-справедливость, правда-красота — вотъ тріединая правда, въ построеніи которой заключается высшая цёль всякаго міровозарёнія; правдыкрасоты не было въ міровоззрёнін семидесятыхъ годовъ.

Эстетика возродилась въ восьмидесятыхъ годахъ. Безспорно, реакціонная почва была чрезвычайне благопріятна для роста теоріи чистаго искусства, но это нисколько не понижаетъ цѣнности такого искусства вообще. Движеніе въ сторону эстетики, несомнѣнно, должно было произойти рано или поздно, и если общій духъ эпохи способствоваль усиленію интереса къ искусству, то зато онъ же привелъ

возрожденное теченіе къ крайности исключительнаго эстетизма. Дъйствительно, съ одной стороны, восьмидесятые годы дали намъ такого изумительнаго художника-импрессіониста, какъ Чеховъ, а съ другой стороны—они привели къ уродливымъ проявленіямъ такъ называемаго «декадентства». (Наше отношеніе къ декадентству выяснится ниже). О Чеховъ ръчь впереди, а теперь мы скажемъ только о томъ исключительномъ эстетизмъ, въ который

выродилась эстетива въ восьмидесятыхъ годахъ.

Восьмидесятники перевернули формулу предыдущаго десятильтія и по свойственному себъ мъщанству снова впали въ крайность и въ узость. «Искусство для человъка!» - таковъ былъ девизъ семидесятыхъ годовъ, приміняемый въ узкомъ смыслів и къ самому художнику, п къ области его творчества: мы показали, что первое вполнъ законно, а второе вполнъ невърно. «Искусство для пскусства» - восклицали восьмидесятники, примъняя это положеніе, и къ области художественнаго творчества, и къ дъятелямъ его: нетрудно видъть, что и въ этомъ случаъ первое неоспоримо, а второе глубоко ложно. Дъйствительно, что въ области художественнаго: творчества можно и должно руководиться только принципомъ искусства для искусства, чистаго искусства, - это мы уже отмътили выше; примънять же требование искусства для искусства къ самому человъку-это значить безконечно суживать человъческую личность.

Только въ искусствъ смыслъ и цѣль жизни—гласитъ иными словами это требованіе; человѣкъ всецѣло долженъ уйти въ искусство, которое одно поднимаетъ на недосягаемую высоту отъ мелочей будинчной жизни; только уйдя въ искусство и въ самого себя, человѣкъ будетъ жить истинной, широкой и глубокой жизнью, in Lebensfluten, in Thatensturm... Вотъ та теорія исключительнаго эстетизма, въ которую выродилась въ восьмидесятыхъ годахъ возродившаяся эстетика; на этомъ примѣрѣ мы увидимъ еще и еще разъ, какъ ультра - индивидуализмъ впалаетъ въ узкое и тусклое мѣщанство. Въ самомъ дѣлѣ, трудно прійти къ большей узости взгляда на жизнь, какъ на сферу проявленія искусства, и на человѣка, какъ на орудіе этого проявленія: ограничить всю жизнь рамками эсте-

тизма, это значить атрофировать въ себъ все остальное, человъческое; это значить провозгласить девизь «человъкъ для искусства», девизъ не только анти-индивидуалистическій, но и сугубо мѣщанскій.

Семидесятники суживали область творчества, но требовали широты художника, какъ человъка, а потому были далеки отъ мъщанства; восьмидесятники расширили область творчества, но впали въ безпросвътную узость эстетизма, ставя искусство во главу угла человической жизни: это въчная ихъ ошибка. Они не видъли, что истина лежить посредный между ними и семидесятывами; это стало ясно только поколѣнію начала XX въка. Мы принчмаемъ оба эти девиза: да, «искусство для искусства», чистое искусство должно имъть мъсто въ сферъ художеотвеннаго творчества; да, «искусство для человъка» -несомнънная истина въ примъненіи къ дъятелямъ искусства. Но мы, однако, отрицаемъ какъ тенденціозное искусство семидесятниковъ, такъ и чистый эстетизмъ восьмидесятыхъ годовъ, ибо первое является анти-пидивидуалистичнымъ, а второй-въ высокой степени мѣщанскимъ. Что же касается указаннаго нами решенія, то мы встръчались съ нимъ еще у Пушкина, и здъсь только развили то, что сказалъ величайшій русскій поэтъ еще въ «Скупомъ Рыцаръ» и «Моцартъ и Сальери».

Поистинъ восьмидесятые годы имъли privilegium odiosum накладывать на все окружающее печать самаго тусклаго мъщанства. Великая эволюціонная идея непрерывности и постепенности развитія обратилась у нихъ въ плоское ностепеновство, сопровождаемое въчнымъ refrain'омъ на мотивъ: «лбомъ стъны не прошибешь и плетью обуха не перешибень»; неизбъжность «малыхъ дълъ» въ жизни обратилась у нихъ въ теорію житейскаго благоразумія, самосовершенствование опошлилось до самоублажения. Наконецъ, и возродившаяся эстетика выродилась подъ ихъ

ферулой въ узкій эстетизмъ мъщанскаго пошиба.

На этемъ темномъ, безпросвътномъ фонъ мъщанства загорались иногда яркія искорки, показывавшія, что скоро «заря взойдеть и тьму разсветь». Последніе могикане семидесятыхъ годовъ-Гл. Успенскій, Салтыковъ, Михайловскій-все время боролись съ общественнымъ мѣщанствомъ; на горизонтъ заблестълъ изумительный талантъ Чехова; въ широкой публикъ мало по малу нарождался интересъ къ общественно-экономическимъ наукамъ. Чувствовалось, что скоро настанетъ время посрамленія чиновничьихъ идеаловъ, мъщанской морали и картофельныхъ добродътелей; и, дъйствительно, скоро въ мертвое болото общественнаго мъщанства пробилась первая живая струл новой идеологіи—марксизма девяностыхъ годовъ.

IX.

Прощаясь съ этой печальной эпохой общественнаго мъщанства, мы не помянемъ ее добромъ. Часто можно слышать, что мертвенное міровоззрѣніе восьмидесятниковъ-не ихъ вина, а ихъ бъда, что они явились фатальнымъ слъдствіемъ вновь воскрешаго гнета николаевской системы, что они — все тъ же «лишніе люди», которыхъ въ свое время породила эпоха оффиціальнаго мъщанства. Въ этихъ общихъ мъстахъ очень мало истины и очень много некритическаго смъшенія понятій. Конечно, «лишніе люди» были всегда, были они и въ восьмидесятыхъ годахъ; и не всякій лишній человѣкъ дѣйствительно является таковымъ въ установленномъ за этимъ терминомъ смыслъ. Кромъ того, всякіе, въдь, бывали «лишніе люди», начиная съ Чулкатурина и кончая Рудинымъ и Бельтовымъ, въ которыхъ мы имъемъ постепенную градацію оть міщанства къ индивидуализму; лишними людьми называла себя всякая мразь изъ породы чистёйшихъ мъщанъ, а иногда и чистьйшихъ мерзавцевъ (въ родъ, напримъръ, щедринской «талантливой натуры» — Горехвастова).

Въ своемъ мъсть мы указывали, что истинные лишніе люди были «лучшіе люди» своего времени, люди, не приспособившіеся къ мъщанству и неспособные примириться съ идеалами разныхъ Штольцевъ и дядющекъ Адуевыхъ. Какіе же послъ этого восьмидесятники — лишніе люди? Называть любого восьмидесятника лишнимъ человъкомъ, значить оскорблять намять Лаврецкаго, Рудина, Бельтова и многихъ дъйствительно существовавшихъ лишнихъ людей, имена же ихъ Ты, Господи, въси. Лишнихъ людей

п восьмидесятниковъ роднить только одно: и тѣ, и другіе были въ высокой степени слабые люди; но это слишкомъ общій признакъ, по которому, пожалуй, и Пушкина пришлось бы счесть лишнимъ человѣкомъ и предтечей восьмидесятниковъ; главные же признаки совершенно не совпадаютъ. Лишніе люди тапли въ себѣ глубокое противорѣчіе; каждый изъ нихъ могъ бы сказать про себя знаменитое фаустовское:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust;

внутреннюю трагедію каждаго изъ нихъ составляна борьба мѣщанства съ индивидуализмомъ и романтизма съ реализмомъ. Восьмидесятники отнюдь не таили ін seinen Brust такого противорѣчія; они дошли до вершинъ ультранидивидуализма, откуда незамѣтно для себя спустились въ болота мѣщанства и основательно погрязли въ нихъ «безъ борьбы, безъ думы роксвой»; мы старались показать, что это были чистокровнѣйшіе мѣщане, а если это такъ, то титулъ «лишнихъ людей» для нихъ слишкомъ почетенъ, а для памяти лишнихъ людей — слишкомъ оскорбителенъ. Очень ужъ непривлекательный мѣщанскій типъ представляеть собою восьмидесятникъ...

«Вотъ нонъшнее покольніе!.. — слышимъ мы слова одного изъ героевъ Гл. Успенскаго: - можетъ ли быть онъ гнѣвенъ, или можетъ ли быть онъ добръ? Нѣту! Плюнь ему въ рожу — у него рука не осмълится на оплеуху! Понадъйся на него- не выручить, будеть спать покойно, хоть бы ты у него стональ всю ночь подъ окномъ. Не гитвенъ и не любовенъ! ... Въ этомъ, конечно, преувеличение, но въ то же время и много истины: этотъ портретъ похожъ на восьмидесятника; похожъ ли онъ, однако, на лишняго человъка? Восьмидесятникъ ни горячъ, ни холоденъ, а только тепелъ; лишній человъкъ постоянно или горячъ, или холоденъ, но чаще всего далекъ отъ серединности. «...Сердце твое неправильное-продолжаетъ Гл. Успенскій, — направленіе-то въ немъ заячье! Оно говорить — «жалъй!», а ты боишься, оно говорить — «не стерпи, возопи!», а ты опять боишься... Вотъ какъ я думаю. Отвыкли сердца слушаться, думають, что квартальный лучше укажетъ, «какъ надо». И идетъ по землъ не жизнь.

а такъ, гнилье грибное... Умъють только бояться! Обравованіе великольпное, а хвостикъ заячій!..» Все это неприложимо ни къ Рудину, проведшему всю жизнь въборьбъ и погибшему на баррикадахъ, ни къ Бельтову, ни къ Лаврецкому, ни къ болье мелкимъ представителямъ лишнихъ людей; но зато отъ слова до слова все это примънимо къ восьмидесятникамъ, этимъ представителямъ грибного гнилья, разучившимся слушаться сердца и въотвъть на его приказаніе «не стерии, возопи!» умъвшимъ

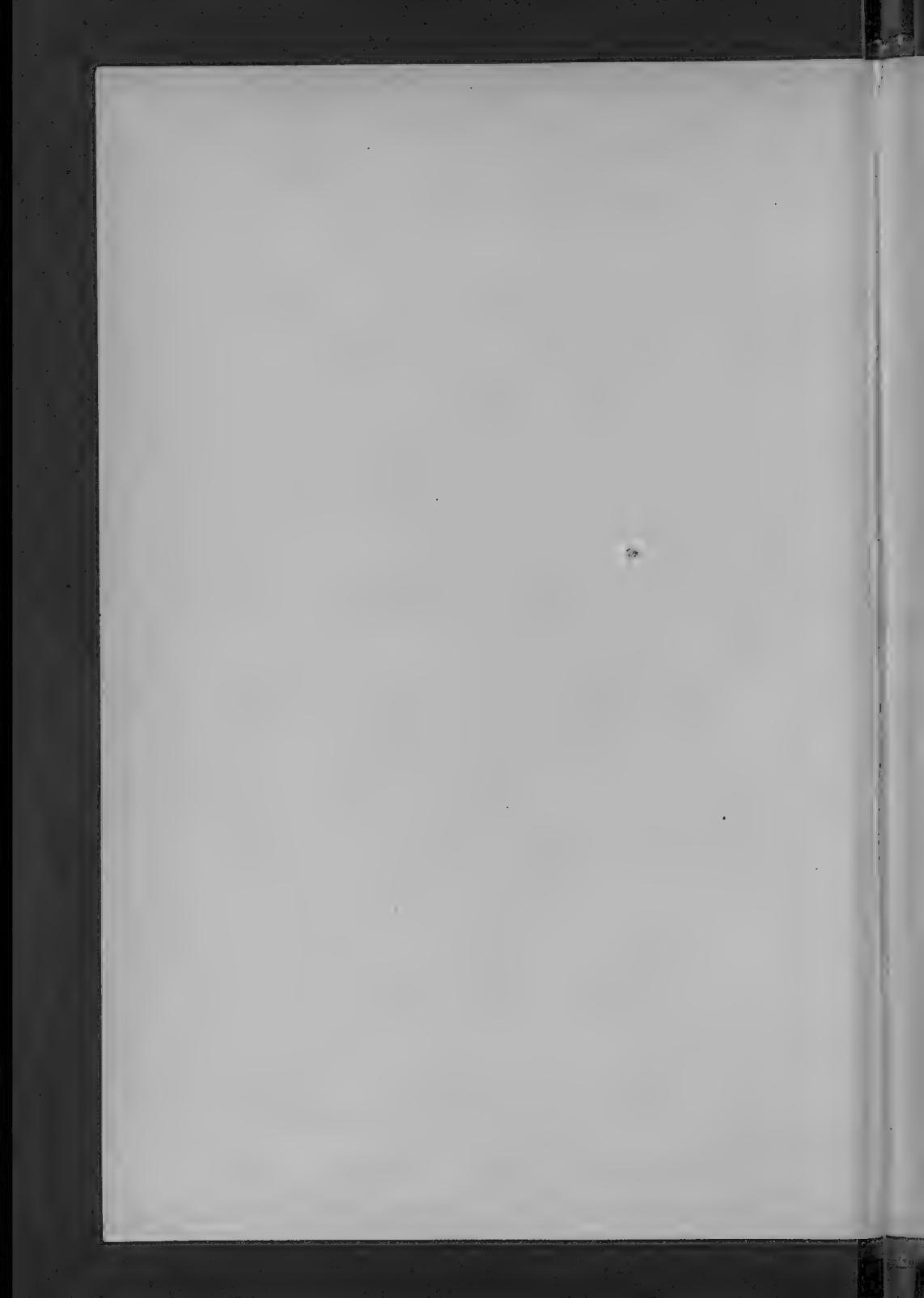
только поджимать свой заячій хвостикъ.

Нъть, не будемъ оскорблять лишнихъ людей сравненіемъ ихъ съ восьмидесятниками, а если ужъ искать для последнихъ наиболее подхедящаго имени, то ихъ можно назвать промежуточными людьми. Да, это были ни горячіе, ни холодные, промежуточные люди, промежуточные во встхъ отношеніяхъ: и сама эпоха восьмидесятыхъ годовъ была промежуточной, никчемной эпохой, и идеалы были промежуточные. Бывають такія промежуточныя эпохи идейнаго междуцарствія, о которыхъ только и можно сказать, что вотъ-де передъ этой эпехой было то-то, а послъ нея то-то; сама же она является какимъ-то пустымъ мъстомъ, дырой въ области разумънія, промежуткомъ. Конечно, и такой промежуточный періодъ исторически необходимъ, но это плохое утъщение для тъхъ, кто имълъ несчастие выйти на историческую сцену именно около этого времени. Такой промежуточной эпохой (ыли восьмидесятые годы: передъ ними было народничество, за ними стоялъ марксизмъ, сами же они представляли идеологическую дыру, которую восьмидесятники тщетно старались заштопать теоріями постепеновства, малыхъ дёлъ, самосовершенствованія, толстовства, эстетизма и иными подобными. Изъ ничего выйдеть ничего, говориль король Лиръ; изъ эпохи общественнаго мъщанства могла только выйти тусклая и жалкая мъщанская идеологія, это совершеннъйшее ничто, составляющее позорную страницу въ исторіи русскаго «культурнаго» общества.

Чёмъ и какъ кончились восьмидесятые годы—это еще увидимъ; на смёну мёщанской идеологіи приш новая и смёная идеологія девяностыхъ годовъ. На рубе между ними стоитъ кошмарный, страшный 1891—92

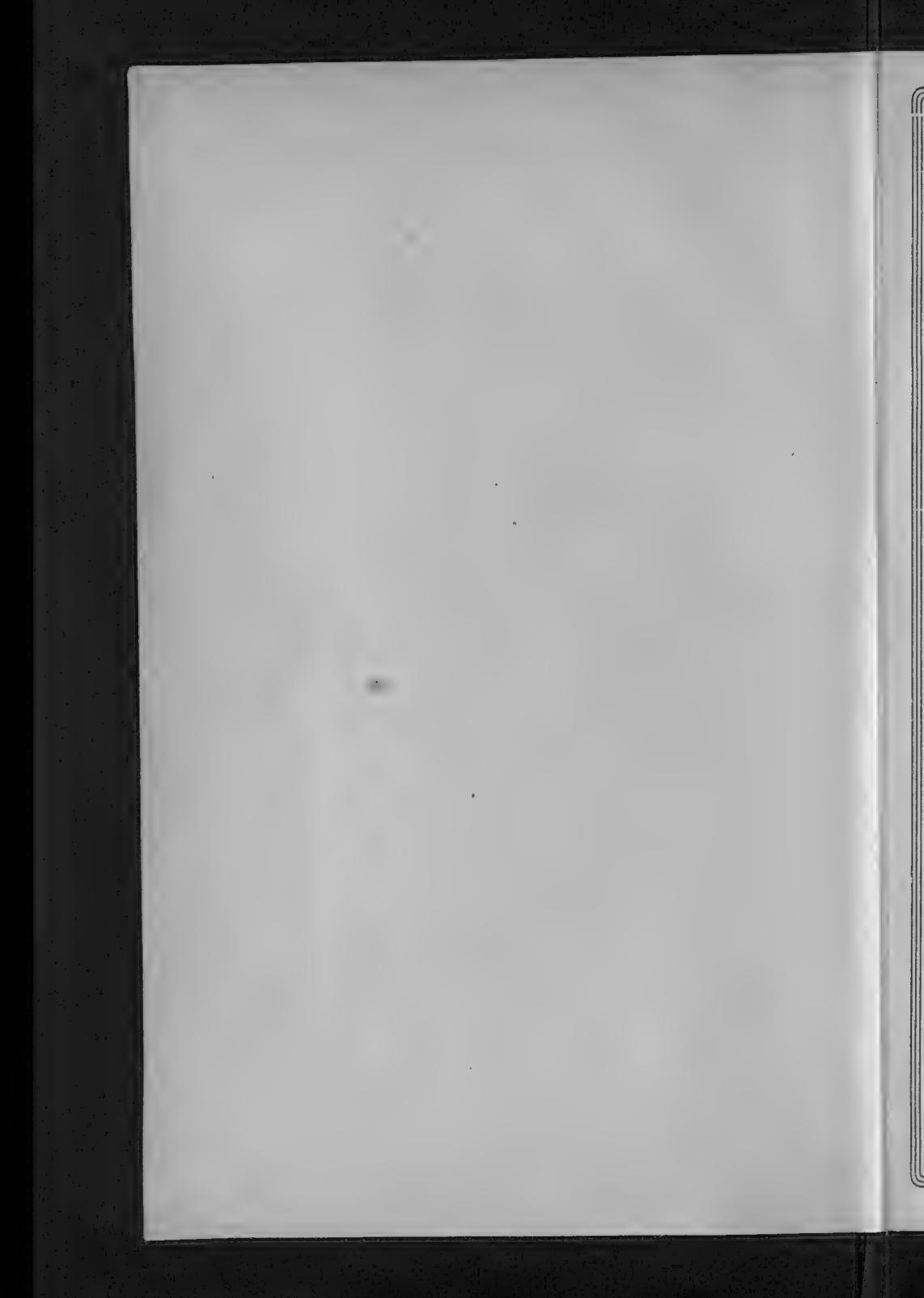
голодный годъ, пробудившій все общество какъ бы ударомъ грома отъ дремотнаго полубездъйствія теоріи малы хъ дъль. Прежде, когда «малыл дъла» оканчивались плачевной неудачей — а это сплошь да рядомъ бывало въ восьмид есятыхъ годахъ- общество не тужило и съ такимъ же усифхомъ принималось за новыя малыя дёла. Одинъ изъ тысячи примъровъ: восьмидесятники усиленно восхищались школами грамотности, какъ малымъ деломъ, которое по результатамъ можетъ замънить хожденія въ народъ семидесятниковъ; однако, вскоръ, вслъдствіе закона 4 мая 1891 г., школы грамотности выродились въ церковноприходскія школы. Это, конечно, было печально, но не наносило особаго удара теоріи малыхъ дёлъ. Можно было съ тъмъ же успъхомъ приняться за новыя малыя дъла. Совершенно не то принесъ съ собой ужасный 1891 — 92 годъ. Конечно, не русское общество было виновато въ неурожав, но оно было виновато въ томъ, что цёлыя десять лёть оно бездъйствовало, не боролось за изивнение тъхъ коренныхъ условій, отъ которыхъ зависить голоданіе милліоновъ людей; русское общество было виновно въ томъ, что оно трусливо открещивалось отъ всякаго ипрокаго и обобщающаго міровоззрінія, отъ всякаго быстраго и энергичнаго дъйствія, боязливо прячась за фразу: «помаленьку-то покойнъе, а потихоньку-върнъе». Голодный 1891-92 годъ со страшной очевидностью показалъ, что не всегда это бываеть такъ, что малыя дела могуть привести къ большому бъдствію; съ этого года начинается постепенное пробуждение русской интеллигенціи отъ позорнаго усыпленія эпохи общественнаго мѣщанства.





СОДЕРЖАНІЕ.

		($\mathbb{C}mp_{\circ}$
Толстой и Достоевскій	*		5
Кризисъ народничества. Златовратскій и Гл. Успенскій	1	, ,	104
Эпоха общественнаго мъщанства	**	- •	140



издательское т-во соціалистовъ-революціонеровъ «РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ».

ПЕТРОГРАДЪ, Литейный пр., 21. — Телефоны: 83-82 и 660-81,

ивановъ-разумникъ. исторія русской ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ.

Изд. 5-ое, дополненное и переработанное,

— ВЪ ВОСЬМИ ЧАСТЯХЪ. **—**

Часть 1. Отъ Радищева до декабристовъ.

- II. Отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ. Пушкинъ. Лермонтовъ. Гоголь.
- III. Сороковые и пятидесятые годы. Бѣлинскій. Западники и славянофилы. Петрашевцы. Герценъ.
- » IV. Шестидесятые годы. Чернышевскій. Добролюбовъ. Писаревъ.
- » V. Семидесятые годы. Бакунинъ. Лавровъ Михайловскій.
- » VI. Отъ семидесятыхъ годовъ къ девяностымъ. Толстой. Достоевскій.
- » VII. Девяностые годы. Марксизмъ. Чеховъ. Горькій.
- » VIII. Девятисотые годы. Библіографія. Указатель именъ.

Каждая часть—законченное цѣлое, размѣромъ около двѣнадцати печ. листовъ; во всей «Исторіи»—свыше 1500 стр.

Выпуски высылаются наложеннымъ платежомъ, при условіи внесенія задатка въ размѣрѣ 5 рублей, который погашается при высылкѣ послѣднихъ выпусковъ.

Стоимость каждаго выпуска отъ 3 рублей.

Пріемъ заказовъ исключительно въ издательствъ: «РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ» — Петроградъ, Литейный пр., 21.

издательское т-во соціалистовъ-революціонеровъ «РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ».

ПЕТРОГРАДЪ, Литейный пр., 21. — Телефоны: 83-82 и 660-81.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на первов

собрание сочинений

ПЕТРА ЛАВРОВИЧА ЛАВРОВА

подъ редакціей

П. Витязева, А. Гизетти и Н. Русанова.

Въ цѣляхъ сдѣлать П. Л. Лаврова доступнымъ наиболѣе широкимъ слоямъ читающей публики, все собраніе сочиненій П. Л. Лаврова разбито на 8 серій, объединенныхъ исключительно внутреннимъ содержаніемъ.

I серія. Статьи по философіи, 6 выпусковъ.

I » Статьи по вопросамъ этики, З выпуска.

III » Статьи научнаго характера, 8 выпусковъ.

IV » Статьи историко-философскія, 10 выпусковъ

V » Статьи по исторіи религіи, 2 выпуска.

VI » Статьи соціально-политическія, 8 выпусковъ.

VII » Статьи историко-литературныя, 3 выпуска.

VIII » Опыть исторіи мысли новаго времени, 10 выпусковъ.

Число выпусковъ по каждой серіи можетъ быть увеличено, въ зависимости отъ поступленія въ редакцію неизданныхъ произведеній Лаврова или вновь разысканныхъ статей его въ старыхъ изданіяхъ.

Одновременно съ печатаніемъ сочиненій П. Л. Лаврова, издательство дастъ ІХ, дополнительную серію статей о П. Л. Лавровъ, куда войдутъ его автобіографія и библіографія,—4 выпуска.

Каждая серія представляеть собой вполн'в законченное ц'влое и будеть выходить самостоятельными выпусками, около 10 печатных листовь въ среднемъ каждый выпускъ, со своей собственной нумераціей.

Къ концу каждой серіи отдъльно издательствомъ будетъ данъ

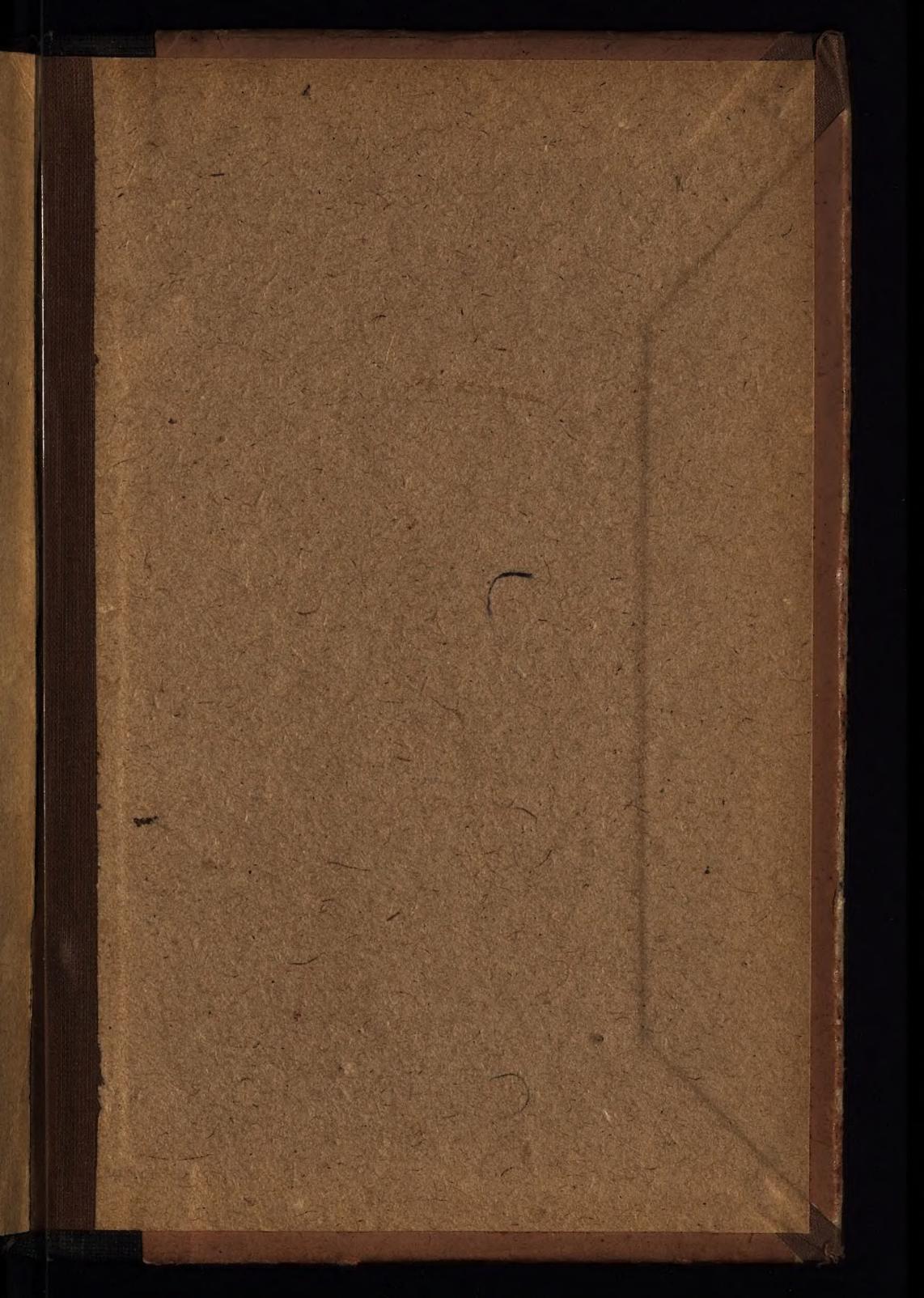
указатель собственныхъ именъ.

Предварительная подписка принимается какъ на всё серіи сразу, такъ и на каждую серію отдёльно. Цёна каждаго выпуска по предварительной подпискё отъ 4 до 5 руб., въ зависимости отъ размёра. При подписке на всё серіи вносится задатокъ въ размёре 25 руб. и при подписке на отдёльную серію—5 руб., засчитывающіеся при высылке послёднихъ выпусковъ. Текущіе выпуски высылаются наложеннымъ платежомъ.

Вышли и поступили въ продажу 2 и 3 вып. 1 серіи, 1, 2

и 8 вып. III серіи и 1 и 9 вып. IV серіи.

Пріемъ заказовъ и подписки принимается издательствомъ «Революціонная Мысль», Петроградъ, Литейный, 21.



5291 b

O. 1918